
Виктория
ТОКАРЕВА
СТРЕЛЕЦ

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА

СТРЕЛЕЦ



МОСКВА

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)
Т51

Токарева, В.С.

Т51 Стрелец : [рассказы и повести] / Виктория Токарева. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. — 317, [3] с.

(С.: под Токар(м)):
ISBN 978-5-17-005008-6 (ООО «Изд-во АСТ»)
ISBN 978-5-9713-5740-7 (ООО Изд-во «АСТ МОСКВА»)
Компьютерный дизайн Н.В. Пашкова

(С.: Сов.люб.пр.(м)):
ISBN 978-5-17-045094-7 (ООО «Изд-во АСТ»)
ISBN 978-5-9713-5739-1 (ООО Изд-во «АСТ МОСКВА»)
Оформление: дизайн-студия «Графит»

Вы помните — в одном из рассказов Токаревой учитель задавал ученикам тему для сочинения: «Что бы я сделал, если бы у меня был миллион». Но — времена меняются, и теперь...

И теперь Костя (бывший инженер, а ныне неизвестно кто), рожденный под знаком Стрельца и, как положено всякому нормальному Стрельцу, по горло увязший в жизненных и любовных проблемах, нашел миллион. Долларов.

И... Началась книга Виктории Токаревой. Новая история нашей с вами нелепой, грустной, опасной и смешной жизни...

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)

ISBN 978-985-16-2568-6
(ООО «Харвест»)
(С.: под Токар(м))
ISBN 978-985-16-2569-3
(ООО «Харвест»)
(С.: Сов.люб.пр.(м))

ПОВЕСТИ

СТРЕЛЕЦ

I

Костя — бывший инженер, а ныне неизвестно кто — родился в декабре под созвездием Стрельца. Люди под этим знаком любят срывать цветы удовольствия и не превращать жизнь в вечную борьбу, как Николай Островский. Стрелец — это не скорпион, который сам себя жалит.

Костя легко двигался, всегда скользил, если была зима. Разбежится и заскользит. Прыгал, если было лето: подскочит и достанет до высокой ветки, если в лесу.

И по жизни он тоже вальсировал, если ему это удавалось. Жена досталась красивая, многие хотели, а Костя получил. Сын появился быстро — продолжатель рода, наследник. Правда, наследовать было нечего. Инженер при коммунистах получал позорные копейки. Гримаса социализма...

Но вот пришла демократия, и Костя оказался на улице. Вообще никаких денег: ни больших, ни маленьких. Ниче-

го. Институт закрылся. Помещение сдали в аренду под мебельный магазин. Понаехали армяне, открыли салон итальянской мебели. Предприимчивая нация.

Инженеры-конструкторы разбрелись кто куда. Костин друг Валерка Бехтерев сколотил бригаду, стали обивать двери. Закупили дерматин, поролон, гвозди с фигурными шляпками. Ходили по подъездам.

Косте такая работа была не по душе. Он не любил стоять на месте и тюкать молотком. Ему хотелось движения, смены впечатлений. Костя стал заниматься частным извозом, или, как говорила жена, — выехал на панель.

Машина у него была всегда, еще со студенчества. И красивая жена ему досталась благодаря машине. И благодаря гитаре. Когда Костя пел, слегка склонив голову, то казался значительнее. Что-то появлялось в нем трагически непонятое, щемящее. Голос у него был теплый, мужской — баритональный тенор. Руки — длинные, пальцы — сильные, смуглые, шея — высокая. Как будто создан для гитары, в обнимку с гитарой, в обнимку с рулем машины, с изысканным красным шарфиком, благоухающий тонким парфюмом. Хотелось закрыть глаза и обнять. Вернее, наоборот: обнять и закрыть глаза.

Однако теща была постоянно недовольна: то поздно пришел, то мало денег. А чаще — и то и другое.

Костя мысленно звал тещу «бегемотиха Грета», хотя у нее было другое имя — Анна Александровна.

Если бы Костя знал, что в нагрузку к жене придется брать эту бегемотиху Грету, никогда бы не женился. Но

теща возникла, когда уже было поздно: уже родился ре бенок, надо было жить, вести хозяйство.

Жена — учительница. Учителям тоже не платили, но она все равно шла и работала. Ей нравился процесс даже в отсутствие денежного результата. Она вставала перед классом, на нее были устремлены 30 пар глаз, и она ведала юными душами. Рассказывала про Онегина, какой он был лишний человек в том смысле, что эгоист и бездельник. Такие люди лишние всегда, поскольку ничего не оставляют после себя. А общество здесь ни при чем, лишние люди были, есть и будут во все времена.

Получалось, что Костя — тоже лишний человек, никуда не стремится, ни за что не хочет отвечать.

Теща была во многом права — по содержанию, но не по форме. То, что она говорила, — правда. Но КАК она говорила — Косте не нравилось: грубо и громко. Все то же самое можно было бы спеть, а он бы подыграл на гитаре. Было бы весело и поучительно. У тещи плохо с юмором и с умом, поскольку ум и юмор — вещи взаимосвязанные и взаимопроникающие.

Если бы у Кости спросили, кем он хочет стать, он бы ответил:

— Наследником престола.

Не королем, потому что у короля тысяча дел и обязанностей. А именно наследником, как принц Чарльз. Ничего особенно не делать, скакать на лошадях, иметь охотничий домик и встречаться там со взрослой любовницей.

Однако Костя принцем не был. Его отец — далеко не король, хотя и не последний человек. Когда-то рабо-

тал торговым представителем в далекой экзотической стране, но проворовался и потерял место. Отца сгубила жадность. Костя не унаследовал этой черты, вернее, этого порока. Он не был жадным, более того — он был очень широким человеком, но ему нечего было дать. И за это его упрекала теща, а уж потом и жена. Жена со временем подпала под влияние своей мамы, и Костя уже не видел разницы между ними. Разговор только про деньги, вернее, про их отсутствие, когда в жизни так много прекрасного: музыка, песни, гитара, люди на заднем сиденье его машины, да мало ли чего... А теща — про комбинезон для ребенка, жена — про зубы: у нее зубы испортились после родов, кальция не хватает. А кальций в кураге, в хурме, в икре, и все опять упирается в деньги.

Костя мечтал найти мешок с деньгами и решить все проблемы. Навсегда. Тогда он купил бы себе охотничий домик, как принц Чарльз, и жил один, без давления. Завел бы себе любовницу — молодую или зрелую, все равно. Лучше молодую. А теще принес бы деньги в коробке из-под обуви... Лучше из-под телевизора. Интересно, о чем бы она тогда разговаривала...

Еще он мечтал быть спонсором телевизионной программы «Что? Где? Когда?»... Сидели бы интеллектуалы и угадывали. А Костя — скромно, в черной бабочке за их спиной. А рядом жена с голой спиной и сыночек, расчесанный на пробор, и тоже в бабочке. А все бы видели — какой Костя скромный и положительный, жертвует безвозмездно на золотые мозги. Интеллект — это достояние нации.

«Хотеть — не вредно» — так говорила жена. Сама она тоже не могла заработать, но почему-то себе в вину это не ставила. Она считала, что зарабатывать должен мужчина, как будто женщины — не люди.

Третья мечта Кости — свобода и одиночество, что, в сущности, одно и то же.

Свободу и одиночество Костя обретал в машине. Он ездил по городу, подвозил людей. Никогда не торговался. Когда его спрашивали: «Сколько?» — он отвечал: «Не знаю. На ваше усмотрение». Усмотрение у всех было разное, но на редкость скромное. Костя даже брать стеснялся. Ему ли, гордому Стрельцу, протягивать руку за деньгами.

Иногда в машину заваливалась веселая компания с гитарой. Костя пел с ними, но не вслух, а внутренне, как Штирлиц. Петь громко и принимать равноценное участие он стеснялся, поскольку шофер — это обслуга. И короткое «шеф» только подчеркивало, что он никакой не «шеф», а наоборот.

Однажды Костя подъехал к вокзалу, но его тут же погнали, что называется, в шею. У вокзала орудовала своя шоферская мафия, и посторонних не пускали. У шоферов свои пастухи, как сутенеры у проституток. Если бы Костя имел деловые качества, он сам бы мог стать пастухом, иметь серьезные сборы. Но Стрелец — он и есть Стрелец. Быть и иметь. Косте легче было не иметь, чем перекрутить свою сущность.

Хорошо бы, конечно, иметь и быть. Как Билл Гейтс, который зарабатывал любимым делом. Если бы ему

ничего не платили, он все равно занимался бы компьютерами.

Костя всегда спрашивал адрес и очень не любил, когда отвечали: «Я покажу». Он чувствовал себя марионеткой, которую дергают за нитку: направо, налево... Ему еще не нравилось, когда садились рядом. Казалось, что чужое биополе царапает его кожу. Костя открывал заднюю дверь и сажал на заднее сиденье, которое, кстати, самое безопасное.

А еще он не любил выслушивать чужие исповеди. Иногда пассажир, чаще женщина, начинал выгружать свою душу и складывать в Костю, как в мусорный пакет. Ему хватало тещи.

Больше всего Косте нравилось ездить по городу в дождь. Включить музыку — и вперед. Ничего не видно и кажется, что ты — один. Только музыка и движение. Дворники работают, отодвигая воду с ветрового стекла. И этот ритм тоже успокаивает.

Однажды из дождя выскочил парень, резко открыл дверцу, запрыгнул почти на ходу, сильно хлопнул дверцей и скомандовал:

— Вперед!

— Куда? — не понял Костя.

— Вперед, и очень быстро!

«Козел», — подумал Костя, хотя парень был похож не на козла, а на филина. Круглое лицо, неподвижные глаза и нос крючком.

Имели место сразу три нарушения: сел рядом, адреса не назвал и хлопнул дверцей так, будто это броневик, а не жидкая «пятерка».

— Куда все-таки? — с раздражением спросил Костя, выводя свою «пятерку» с маленькой дорожки на широкую трассу.

Костя поглядел на парня, но увидел только его затылок. Затылок был широкий и плоский, будто он его отлежал на подушке.

Филин смотрел на дорогу. Костя заметил, что с ними поравнялся черный джип, опустилось боковое стекло, обозначилось длинное лицо с ржавой растительностью.

— Уходи, — напряженно скомандовал Филин.

Его напряжение передалось Косте. Костя рванул машину вперед и помчался, виляя между другими машинами. Джип исчез, потом снова появился, но не справа, а слева. Со стороны Кости.

Костя вильнул в переулок, нарушая все правила.

— Ушли, — выдохнул Филин.

— А теперь куда? — спросил Костя и в это время услышал сухой щелчок. И увидел джип, который не преследовал, а уходил. Это мог быть другой джип. Мало ли сейчас иномарок на московских дорогах.

Костя хотел выяснить, куда же все-таки ехать. Но Филин заснул, опустив голову на грудь. Закемарил. Костя остановил машину. Его смутила какая-то особенная тишина. Полное отсутствие чужого биополя. Он обошел машину, открыл дверь. Филин сидел в прежней позе. В виске у него темнела круглая бескровная дырка. По лицу ото лба спускалась зеленоватая бледность, какой никогда не бывает у живых.

— Эй! — позвал Костя. — Ты чего?

Если бы Филин мог реагировать, он бы сказал: «Меня убили, не видишь, что ли...»

Костя оторопел. Он видел по телевизору криминальные разборки, но это было на экране, так далеко от его жизни. Где-то в другом мире, как среди рыб. А тут он вдруг сам попал в разборку, в ее эпицентр.

Что же делать? Естественно, обращаться в милицию. Они знают, что в этих случаях делать.

Костя поехал со своим страшным грузом, как «черный тюльпан». Он смотрел на дорогу, высматривая милиционера или милицейский пост. Поста не попадалось. У Кости в голове рвались и путались мысли. Сейчас милиция завязана с криминалом, в милиции служит кто угодно. Это тебе не Америка.

Спросят:

— Кто убил?

— Не знаю, — скажет Костя.

— А как он оказался в твоей машине?

— Заскочил.

— Знакомый, значит?

— Да нет, я его в первый раз вижу.

— А может, ты сам его убил?

— Зачем мне его убивать?

— Вот это мы и проверим...

Костю задержат. Хорошо, если не побьют. Могут и побить. А могут просто намотать срок. Не захотят искать исполнителей и посадят. Теща будет рада. А жена удивится — каким это образом вальсирующий Костя попал в криминалитет. Туда таких не берут. Там тоже

нужны люди с инициативой и криминальным талантом. А гитара, шарфик и парфюм там не проходят.

Костя свернул и въехал во двор. Остановил машину против жилого подъезда под номером 2. Вытащил Филина и посадил на землю, прислонив спиной к кирпичной стене. Люди найдут, вызовут милицию — все своим путем, только без него. Без Кости.

Костя вернулся в машину. Перед тем как уехать, бросил последний взгляд на Филина. Он был молодой, немножко полноватый, с лицом спящей турчанки, видимо, походил на мать. У него было спокойное, мирное выражение. Он не страдал перед смертью, скорее всего он ничего не успел почувствовать. Он убегал и продолжал бежать по ту сторону времени.

У Кости мелькнула мысль: может, его не бросать? А что с ним делать? Привезти домой? То-то теща обрадуется...

После этого случая Костя долго не мог сесть в машину. Ему казалось: там кто-то есть... Может, душа этого парня плавает бесхозно.

Дома Костя ничего не сказал. Ему было неприятно об этом помнить, а тем более говорить.

Однако время шло. Костя постепенно убедил себя в том, что снаряд не падает дважды в одно место. Значит, смерть больше не сядет в его машину...

Он снова начал ездить. И в один прекрасный день, а если быть точным, то в дождливый октябрьский вечер, в его машину села ЛЮБОВЬ. Потом он совместил эти два обстоятельства в одно, поскольку любовь и смерть

являют собой два конца одной палки. Но тогда, в тот вечер, Костя ничего не заподозрил. Просто стройный женский силуэт в коротком черном пальто, просто откинутая легкая рука. Она голосовала.

Костя мог бы появиться минутой раньше или минутой позже — и он проехал бы мимо своей любви. Но они совпали во времени и пространстве. Костя затормозил машину, ничего не подозревая. Она села грамотно — назад, дверь прихлопнула аккуратно, назвала улицу: Кирочная.

Костя никак не мог найти эту чертову улицу. Они крутились, возвращались, смотрели в карту, и в конце концов выяснилось, что такой улицы нет вообще. То есть она есть, но в Ленинграде. Она назвала «Кирочная», а надо было улицу Кирова. Они сообразили совместными усилиями.

Позже она расскажет, что занимается антиквариатом. Скупает старину, реставрирует и продает. Такой вот бизнес. Накануне ездила в Петербург, купила чиппендейл — что это такое, Костя не знал, а переспрашивать постеснялся. Однако догадался, что чиппендейл — на Кирочной. А сейчас нужна была улица Кирова.

Костя нашел улицу и дом. Она полезла в сумочку, чтобы расплатиться. Косте вдруг стало жаль, что она уйдет. Он предложил подождать.

Она подумала и спросила:

— Вы будете сидеть в машине?

— Естественно.

— Это может быть долго. Давайте поднимемся вместе.

Они поднялись вместе. Дверь открыла старуха, похожая на овечку, — кудряшки, очки, вытянутое лицо.

— Это вы? — спросила Овечка.

— Да. Это я, Катя...

Костя услышал ее имя. Оно ей не соответствовало. Катя — это румянец и русская коса. А в ее внешности было что-то от филиппинки: маленькое смуглое личико, прямые черные волосы, кошачьи скулы, невозмутимость, скромность. В ней не было ничего от «деловой женщины», или, как они называются, бизнес-вумен. Отсутствие хватки, агрессии — скорее наоборот. Ее хотелось позвать в дом, покормить, дать подарочек...

— Это вы? — еще раз переспросила Овечка.

— Да, да... — кивнула Катя. — Это я вам звонила.

— А он кто? — Овечка указала глазами на Костю.

— Я никто, — отозвался Костя, догадавшись, что старуха боится.

Овечка вгляделась в Костю и поняла, что бояться его не следует. Она предложила раздеться, потом провела в комнату, показала лампу и стол. Лампа была с фарфоровыми фигурками, а стол-бюро — обшарпанный до невозможности.

Катя и старуха удалились в другую комнату, у них были секреты от Кости. Костя огляделся по сторонам. Вся комната в старине, начиная от люстры, кончая туркменским ковром на полу. На стенах фотографии и гравюры в рамках конца века. Костя как будто окунулся в другое время и понял, что ему там нравится. Там — неторопливость, добротность, красота. Там — все для человека, все во имя человека.

Костя стал рассматривать фотографии. Мужчины со стрельчатыми усами, женщины — в высоких прическах и белых одеждах. Они тоже любили... Вот именно: они любили, страдали и умерли. Как все. Только страдали больше и умерли раньше.

Катя и старуха вернулись довольные друг другом. Костя предположил, что Овечка не в курсе цен. Катя ее, конечно, «умыла», но не сильно, а так... слегка. «Умывают» все, на то и бизнес. Но важно не зарываться. Иначе все быстро может кончиться. Быстро и плохо.

Костя смотрел на Катю — тихую, интеллигентную девочку. У нее все будет долго и хорошо, потому что с ней никто не станет торговаться. Сами все дадут и прибавят сверху.

Овечка предложила сверху фасолевый суп. Катя и Костя переглянулись, и Овечка поняла, что они голодны.

Суп оказался душистый, фиолетовый, густой. Костя накидал туда белого хлеба и ел как похлебку. Катя последовала его примеру.

Много ли человеку надо? Тепло, еда и доброжелательность.

— Вы муж и жена? — поинтересовалась Овечка.

— Нет, — ответила Катя. — Мы познакомились час назад.

— У вас будет роман, — пообещала старуха.

— Почему вы так решили?

— У вас столько радостного интереса друг к другу...

Катя перестала есть и внимательно посмотрела на Костю, как будто примерила. Костя покраснел, хотя делал это редко. Он, как правило, не смущался.

— Вы похожи на меня молодую, — заметила Овечка.

— Это хорошо или плохо? — спросила Катя.

— Это очень хорошо. Я многим испортила жизнь.

— А это хорошо или плохо? — не поняла Катя.

— Это нормально.

— А когда лучше жить — в молодости или теперь? — спросила Катя.

— И в молодости, и теперь. Дети выросли, никаких обязанностей, никакой зависимости от мужчин. Свобода...

— Но зависимость — это и есть жизнь, — возразил Костя.

— Вот и зависьте. От нее.

Костя снова покраснел. Старуха была молодая. Ей нравилось эпатировать. Ставить людей в неудобное положение.

— А вы больше ничего не хотите продать? — спросила Катя.

— У меня есть дача. Там никто не живет.

— А дети? — напомнил Костя.

— У них другая дача, в другом месте. Под Сан-Франциско.

— Но можно сдавать дачу, — предложила Катя.

— Я не люблю сдавать, — отказалась старуха.

— Почему?

— Потому что люди у себя дома никогда не вытирают обувь занавеской. А в гостиницах вытирают.

— Но там же все равно никто не живет, — напомнила Катя.

— Там живет моя память. Раньше эта дача была центром жизни: съезжалась большая семья, горел камин, пахло пирогом... Прошлое ушло под воду, как Атлантида...

— Грустно, — сказала Катя.

— Так должно быть, — возразила старуха. — Закон жизни. Прошлое уходит и дает дорогу будущему. Суп, который вы съели, через несколько часов превратится в отходы. И вы снова захотите есть.

Старуха прятала за грубостью жалость к себе, иначе эту жалость пришлось бы обнаружить. Старуха была гордой.

— А дача далеко? — спросила Катя.

— Полчаса в один конец. Близкое Подмосковье, — отозвалась старуха.

В Катином личике ничего не изменилось, но Костя понял, что ей это интересно. Интереснее всего остального.

— Я дам вам ключи, можете посмотреть...

Старуха принесла связку ключей и протянула их Косте.

— Почему мне? — удивился Костя.

— Но ведь вы же повезете...

— Он вам нравится? — прямо спросила Катя.

Старуха ответила не сразу. Она долгим, внимательным взглядом посмотрела на Костю, после этого глубоко кивнула:

— Да...

И все рассмеялись. Это почему-то было смешно.

Катя и Костя вышли на лестницу. Стали спускаться пешком. Костя забежал вперед и перегородил ей дорогу. Они смотрели друг на друга, она — сверху вниз. Он — снизу вверх. У Кати было серьезное личико. Углы губ — немножко вниз, как будто она с тревогой прислушивалась к будущему, а там — ничего хорошего. Все утонет, как Атлантида, — молодость, красота, ожидание счастья, само счастье — все, все...

Костя приблизил свое лицо и поцеловал ее в угол рта. Сердце замерло, а потом застучало, как будто испугалось. Костя осознал, что не захочет жить без нее. И не будет жить без нее. Как все это раскрутится, он понятия не имел. Это все потом, потом... А сейчас она стояла напротив и смотрела на него сверху вниз.

В эту ночь Костя бурно и безраздельно любил свою жену. Он понял, что главное в его жизни произошло. Он вытащил счастливый билет. Билет назывался Катя. Чувство не оценивается деньгами, и тем не менее Костя выиграл у жизни миллион. Он миллионер и поэтому был спокоен и щедр. Он любил жену, как будто делился с ней своим счастьем.

— Тише... — шептала жена. В соседней комнате спали мать и сын, и жена боялась, что они услышат.

Костя пытался вести себя тише, но от этого еще больше желал жену. И она тоже обнимала его руками и ногами, чтобы стать одним.

Мать за стеной злобно скрипнула диваном. Дочь любила ее врага, и мать воспринимала это как предательство.

* * *

Договорились, что Катя позвонит сама. Она его найдет.

Последний разговор был таким:

— Вы женаты? — спросила Катя.

— Вовсю... — ответил Костя.

— А чем вы вообще занимаетесь?

— Ничем. Живу.

— Это хорошо, — похвалила Катя. — Я позвоню...

Костя ждал звонка постоянно. Он предупредил тещу, что ему должны звонить с выгодным предложением. Теща тоже стала ждать звонка. Они превратились в сообщников. Вернувшись с работы, Костя пересекался с тещей взглядом, и она медленно поводила головой. Дескать, нет, не звонили...

Это свидетельствовало по крайней мере о трех моментах. Первый — Катя замужем, второй — у нее куча дел, и все неотложные. Третий — основной — Костя ей не понравился. Не произвел впечатления.

«А в самом деле, — прозрел Костя. — Зачем я ей? Вовсю женатый, нищий. Какой с меня толк? Я могу быстро бегать и далеко прыгать, но эти качества хороши при охоте на мамонта. Сегодня мамонтов нет. Хотя ученые пообещали воссоздать. В вечной мерзлоте нашли хорошо сохранившиеся остатки. Возьмут клеточку, склонируют и пересадят в слона, вернее, в слониху. Родится мамонт. Он будет живой, но один. И поговорить не с кем».

Сегодняшние девушки — другие. Это раньше: спел под гитару — и покорил. А Катя — человек действия:

поставила задачу — выполнила. В красивый хрупкий футляр заключен четкий, отлаженный инструмент. Не скрипка. Скорее, саперная лопата, выполненная Фаберже.

Костя не набрал козырей, поэтому она не позвонила. Он все понимал, но не мог отделаться от ее желудевых глаз, от опущенных уголков рта, как будто ее обидели. Когда взял ее руку в свою — тут же испугался, что повредит, сломает, — такая хрупкая, нежная была рука, будто птенец в ладони...

Костя перестал ждать звонка. И тогда она позвонила. Это случилось в десять часов вечера. Когда шел к телефону — знал, что это она. Он собрался задать вопрос, содержащий упрек, но не успел.

— Завтра едем смотреть дачу, — сказала Катя, — в десять часов утра.

— Здравствуй, — сказал Костя.

— Здравствуй, — ответила Катя. — Значит, в десять, возле моего подъезда.

— Ждать внизу? — уточнил Костя.

— Лучше поднимись. Квартира двадцать. Четвертый этаж.

Костя молчал. Он мгновенно все запомнил.

— Поездка возьмет у тебя два часа.

Костя принял к сведению.

— До свидания, — попрощалась Катя и положила трубку. Костя понял, что отношения она складывала деловые. Вызвала машину на два часа. Заплатит по таксе. А какая у нее такса? Скорее всего средняя: не большая и не маленькая.

Деловые — пожалуйста. Лучше, чем никаких. Костя готов был не показывать ей своих чувств. Он будет любить ее тихо, безмолвно и бескорыстно, только бы ощущать рядом. Только бы видеть, слышать и вдыхать. Как море. Море ведь не любит никого. Но возле него — такое счастье...

Раньше, в прежней жизни, Костю интересовал результат отношений, конечная стадия. А сейчас был важен только процесс. Он готов был отказаться от результата. Главное, чтобы Катя ничего не поняла. Не увидела, что он влюблен, а значит — зависит. Иначе растопчет. Или выгонит.

Дверь открыл муж.

«И она с ним спит?» — поразился Костя. Муж был никакой. Без лица. Сладкая какашка.

...Позже Катя расскажет, что он преподавал в институте, где она училась, вел курс изобразительного искусства. Он столько знает. И он так говорит... Золотой дождь, а не лекция. Катя им восхищалась. А сейчас он — директор аукциона. Все самое ценное, а значит — самое красивое проходит через его руки. Через его руки протекает связь времен: восемнадцатый век, девятнадцатый век, двадцатый.

— Он богатый? — спросит Костя.

— Какая разница? — не ответит Катя. — Я все равно не люблю жить на чужие деньги. У меня должны быть свои...

Муж открыл дверь и посмотрел на Костю, как на экспонат. И тут же отвернулся. Не оценил.

— Катя! — крикнул он. — Шофер приехал!

— Сейчас! — отозвалась Катя. — Пусть внизу подождет...

Костя успел зацепить взглядом богатую просторную прихожую со стариной и понял, что это — другой мир. Из таких квартир не уходят.

Костя спустился и захотел уехать. Он не любил чувствовать себя обслугой.

Включил зажигание, но машина закашляла и не двинулась с места. Пришлось поднять капот и посмотреть, в чем дело. Ни в чем. Просто машина нервничала вместе с Костей.

Катя спустилась вниз. На ней было голубое пальто-шинель с медными пуговицами.

Вырядилась, подумал Костя. И тут же себя поправил: почему вырядилась? Просто оделась. У нее хорошие вещи, в отличие от его жены. Это у бедных несколько видов одежды: домашняя, рабочая и выходная. А богатые всегда хорошо одеты.

Катя молча села. Она была не в курсе Костиных комплексов. Молча протянула ему листок, на котором старуха нарисовала схему. Все действительно оказалось очень просто: прямо и через полчаса направо.

Въехали в дачный поселок. Как в сказку. Позади серый город, серая дорога. А здесь — желтое и багряное. Дорогие заборы на фундаментах. Но вот — деревянный штакетник, а за ним барская усадьба из толстых бревен с большими террасами.

— Какая прелесть... — выдохнула Катя. — Дом с мезонином.

— А что такое мезонин? — спросил Костя.

— От французского слова «мэзон» — значит дом. А мезонин — маленький домик.

— Откуда вы знаете?

— Я закончила искусствоведческий. Но вообще — это знают все.

— Кроме меня, — уточнил Костя.

Он больше не хотел нравиться. Более того, он хотел не нравиться. Он — шофер. Работник по найму. Потратит время, возьмет деньги и купит теще новый фланелевый халат. Очень удобная вещь на каждый день.

Вошли в дом. Его давно не топили, пахло сыростью. Дом был похож на запущенного человека, которого не мыли, не кормили, не любили.

— Здесь надо сломать все перегородки и сделать одно большое пространство.

Катя смотрела вокруг себя, но видела не то, что есть, а то, что будет.

— Старуха не согласится, — сказал Костя.

— У старухи никто не будет спрашивать. Я куплю и возьму в собственность. А со своей собственностью я могу делать все, что захочу.

«Саперная лопата», — подумал Костя.

— Дом ничего не стоит, — размышляла Катя. — Здесь сто́ят земля и коммуникации.

— Старуху не надо обманывать, — напомнил Костя.

— Да что вы пристали с этой старухой?

Катя воткнула в него свои желудевые глаза. Они долго не отрываясь смотрели друг на друга.

— Для старухи пятьдесят тысяч долларов — это целое состояние, — продолжала Катя. — Ей этого хватит на десять лет. Не надо будет к детям обращаться за деньгами. Я поняла: она не хочет у детей ничего просить. Для нее просить — нож к горлу. Она очень гордая.

— А как вы это поняли? — удивился Костя.

— Я умею видеть.

Костя понял, что она и его видит насквозь. Как под рентгеном. Вот перед ней стоит красивый Стрелец, который не умеет зарабатывать, но умеет любить. Хочет отдать свое трепетное сердце, бессмертную душу и ЧУВСТВО. ...Она войдет в море секса, под куполом любви, как под звездным небом. Это тебе не двадцать минут перед сном со «сладкой какашкой».

Однако Катя — человек действия. Поставила задачу — выполнила. Она купит дачу за пятьдесят тысяч долларов. Вложит еще пятьдесят и продаст за полмиллиона. Чувство — это дым. Протянулось белым облачком и растаяло. А деньги — это реальность. Это свобода и независимость.

— Я хочу подняться на второй этаж, — сказала Катя.

— Я пойду вперед, — предложил Костя. Он боялся, что лестница может обвалиться.

Лестница не обвалилась. Поднялись на второй этаж. Там были две спальни и кабинет. В одной из спален — полукруглое окно. В нем, как картина в раме, — крона желтого каштана. У стены стояла широкая кровать красного дерева. На ней, возможно, спал чеховский дядя Ваня, потом через полстолетия — молодая старуха, а месяц

назад — пара бомжей. Ватное одеяло, простеганное из разных кусочков ситца. Плоская подушка в такой же крестьянской наволочке.

Костя старался не смотреть на это спальное место. Он оцепенел. Смотрел в пол. А Катя смотрела на Костю. Почему бы не войти в море, когда оно рядом? Чему это мешает? Только не долго. Войти и выйти. Сугубо мужской подход к любви.

Костя смотрел в пол. Он не любил, когда решали за него. Он Стрелец. Он должен пустить стрелу, ранить и завоевать.

— Сердишься? — спросила она, переходя на ты. Она все понимала и чувствовала. Вряд ли этому учат на искусствоведческом. С этим надо родиться. Все-таки не только саперная лопата, но и скрипка.

Она положила руки ему на плечи. Благоухающая, как жасминовая ветка. В голубом пальто из кашемира. Она не похожа ни на одну из трех чеховских сестер. А он на кого похож? Не ясно. Таких героев еще не стояло на этой сценической площадке, в этой старинной усадьбе.

— Перестань, — попросила Катя.

Что перестать? Сопротивляться? Полностью подчиниться ее воле. Пусть заглатывает, жует и переваривает. Пусть.

Костя хотел что-то сказать, но не мог пошевелить языком. Во рту пересохло. Язык стал шерстяной, как валенок.

Они легли не раздеваясь. Костя звенел от страсти, как серебряный колокол, в который ударили. И вдруг, в

самый неподходящий или, наоборот, в самый подходящий момент, он услышал внизу шаги. Шаги и голоса.

Костя замер как соляной столб. А Катя легко поднялась с дивана, застегнула свои медные пуговицы и сбежала вниз по лестнице.

Вернулась довольно быстро.

— Это соседи, — сообщила она. — Увидели, что дверь открыта, пришли проверить. Они следят, чтобы не залезли бомжи.

— Заботятся, — похвалил Костя.

— О себе, — уточнила Катя. — Если дом подожгут, то и соседи сгорят. Огонь перекинется по деревьям.

Катя скинула пальто и легла. Замерла в ожидании блаженства. Но Костя уже ничего не мог. Как будто ударили палкой по нервам. Все, что звенело, — упало, и казалось — безвозвратно. Так будет всегда. Вот так становятся импотентами: удар по нервам в минуту наивысшего напряжения.

Он сошел с тахты. У него было растерянное лицо. Ему было не до Кати и вообще ни до чего.

Он стоял и застегивал пуговицы на рубашке, затягивал пояс.

Катя подошла, молча. Обняла. Ничего не говорила. Просто стояла и все. Косте хотелось, чтобы так было всегда. В любом контексте, но рядом с ней. Пусть опозоренным, испуганным — но рядом. Однако он знал, что надо отстраниться, отойти и валить в свою жизнь.

Костя отодвинулся и сбежал вниз по лестнице. Катя не побежала следом. Зачем? Она спокойно еще раз обо-

шла весь второй этаж. Потом спустилась и обошла комнаты внизу, заглянула в кладовку.

— Помнишь, как говорила Васса Железнова: «Наше — это ничье. МОЕ».

— Когда это она так говорила? — спросил Костя, будто Васса Железнова была их общей знакомой.

— Когда корабль спускали на воду, — напомнила Катя.

Костя никогда не читал этот роман. Из Горького он знал только «Песню о Буревестнике».

Катя тщательно заперла входную дверь. Подергала для верности.

Сели в машину.

Катя забыла об их близости, думала только о даче.

— Если фундамент состоятельный, можно будет поставить сверху третий этаж. Это увеличит продажную стоимость.

— Зачем тебе столько денег? — удивился Костя.

— Денег много не бывает.

— Но ты хочешь больше, чем можешь потратить.

— Я хочу открыть издательство, — созналась Катя. — Выпускать альбомы современного искусства. Сейчас тоже есть свои Рембрандты. Но они все по частным коллекциям. Их надо собрать.

— Возьми деньги у мужа.

— Он не даст. Это очень дорогие альбомы. Там особенная мелованная бумага, ее в Финляндии надо заказывать. И полиграфия...

— Твой муж жадный?

— Мой муж умеет считать. Он говорит, что я на этих журналах прогорю. Очень большая себестоимость. Их никто не будет покупать, и кончится тем, что они будут штабелями лежать у нас в гараже.

— Он, наверное, прав...

Катя смотрела перед собой.

— Если считать результатом деньги, то он прав. Но деньги — это только деньги. Хочется, чтобы ОСТАЛОСЬ.

— Рожай детей. Они останутся.

— Это самое простое. Все рожают, и куры, и коровы. А вот издательство...

Машина выбежала из дачного поселка. Кончилось золотое и багряное. Впереди были серая дорога и серый город.

— Выходи за меня замуж, — вдруг сказал Костя. Он сначала сказал, а потом услышал себя. Но было уже поздно.

— Что? — переспросила Катя, хотя прекрасно расслышала.

— Замуж. За меня. Ты, — раздельно повторил Костя.

— Интересно... — проговорила Катя. — Я своего мужа дожимала пять лет. Он упирался. А ты сделал мне предложение на второй день.

— Я тебя люблю. Мне не надо проверять свои чувства. Я хочу, чтобы мы не расставались.

— У тебя есть где жить? — поинтересовалась Катя.

— Нет.

— А на что жить?

— Нет.

— Значит, ты рассчитываешь на мои деньги и на мою территорию. Так и скажи: женись на мне. Это будет точнее.

Катя издевалась. Она издевалась над ЧУВСТВОМ. Территория чувства — сердце. Значит, она издевалась и над сердцем, и над душой. И только потому, что у нее были деньги, которые она добывала, обманывая старух.

Костя понял, что он не захочет ее больше видеть. Цинизм — вот что течет по ее жилам и сосудам. Она вся пропитана цинизмом, как селедка солью. Сейчас он довезет ее до подъезда, возьмет деньги, заедет на базар, купит хурму, курагу и привезет домой. Он наполнит дом витаминами. А весь остальной мир с его грандиозными планами — его не касается. В своем доме — он МУЖ, опора и добытчик. И так будет всегда.

Машина выехала на набережную.

— Сердишься? — спросила Катя. Она играла с ним, как кошка с мышью: отдаляла, потом приближала.

Но в этот раз она заигралась. Костя отодвинулся слишком далеко, на недосягаемое расстояние. Он самоустранился.

Машина остановилась возле подъезда. Катя полезла в сумку.

— Не надо, — отказался Костя. Он понял, что не возьмет у нее денег. И она тоже поняла, что он не возьмет.

— Я позвоню, — коротко пообещала Катя. Она была уверена в себе.

Костя не ответил. Он тоже был уверен в себе. Он мог опуститься на колени перед женщиной, но лечь на землю, как подстилка, он не мог и не хотел.

Катя вышла из машины и пошагала на свою территорию со своим кошельком.

Костя рванул своего железного коня. Куда? В остаток дня. Катя права. Но и он — тоже прав. Жизнь прекрасна сама по себе, а деньги и комфорт — это декорация. Как бантик на собаке.

Ночью они с женой любили друг друга. Чтобы ни происходило в жизни Кости, перед сном он неизменно припадал к жене, как к реке. Но в этот раз он пил без жажды. И чем нежнее обнимала его жена, тем большую пустоту ощущал он в душе. Пустоту и отчаяние. «И это — все? — думал он. — Все и навсегда... Ужас...»

Она позвонила на другой день. Ночью.

— Приезжай немедленно. Поднимись.

— А который час, ты знаешь? — трезво спросил Костя.

Но в трубке уже пульсировал отбой. Катя раздавала приказы и не представляла себе, что ее можно ослушаться.

— Кто это? — сонно спросила жена.

— Валерка Бехтерев. Ногу сломал.

Жена знала Валерку.

— О Боже... — посочувствовала жена.

* * *

Через полчаса Костя стоял в Катиной спальне.

Позже Катя скажет, что эта спальня из Зимнего дворца, принадлежала вдовствующей императрице, матери Николая. Но это позже... А сейчас им обоим было не до истории...

Катины подушки источали тончайший запах ее волос.

— Он не вернется? — спросил Костя.

— Он уехал два часа назад. Сейчас взлетает его самолет.

— А вдруг не взлетит?

Костя чувствовал себя преступником, вломившимся в сердце семьи. Кате тоже было не по себе. Она никогда не приглашала любовников на супружеское ложе, и даже не могла себе представить, что способна на такое, но оказалось — способна.

Костя отметил, что у него стучало сердце, он задыхался, как от кислородной недостаточности. Так бывает высоко в горах, когда воздух разряжен.

Он ушел от Кати под утро и был рад, оказавшись вне ее дома. Все-таки он был скован невидимым присутствием ее мужа. И все время казалось, что он вернется.

Через неделю они с Катей уехали на Кипр. Костя одолжил деньги у Валерки Бехтерева. Пообещал вернуть через полгода. Как он будет возвращать, Костя не знал. Главное — одолжить. А там будет видно...

Хороший это остров или не особенно, он так и не понял, потому что они с Катей не выходили из номера.

Они любили друг друга двадцать четыре часа в сутки, делая перерыв на сон и на еду. Катя пила сухое кипрское вино и ела фрукты, как Суламифь, которая изнемогала от любви... Но где-то к вечеру просыпался зверский аппетит, и они выходили в ресторан под открытым небом. Музыка, близость моря, стейк с кровью, а впереди ночь любви. Так не бывает...

Костя не выдержал и сознался, что любит.

— За что? — спросила Катя.

— Разве любят за что-то? — удивился Костя.

— Конечно.

Костя подумал и сказал:

— За то, что ты всякая-разная...

— У тебя есть слух к жизни, — сказала Катя. — Как музыкальный слух. Знаешь, как называются бесслухие? Гудки. Вот и в жизни бывают гудки. Все монотонно и одинаково.

— Но может быть, гудки умеют что-то другое?

— Возглавлять оценочную комиссию. Разбираться в живописи. Я хочу, чтобы во мне разбирались, в моей душе и в остальных местах...

Играла музыка. Танцевали пары. Одна пара очень хорошо танцевала, особенно парень. Он был в шляпе и в длинном шарфе. Катя застряла на нем глазами.

Костя встал и пошел танцевать. Один. Постепенно ему уступали площадку. Всем хотелось смотреть.

В студенчестве Костя участвовал в пародийном ансамбле, объездил с ним полстраны. Чтобы станцевать пародию, надо знать танец. Костя знал. Двигался, как

Майкл Джексон. Когда музыка кончилась, ему хлопали, требовали еще. Но «еще» — было бы лишним. В искусстве главное — чувство меры.

Когда он вернулся к столику, Катя смотрела на него блестящими глазами.

— Может, ты еще петь можешь? — спросила Катя.

— Могу, — серьезно ответил Костя. — А что?

Он мог все: петь, танцевать, любить, готовить пельмени. У него был музыкальный слух и слух к жизни. Он не мог одного: зарабатывать деньги. Но этот недостаток перечеркивал все его достоинства.

Ранним утром Катя проснулась и решила выйти на балкон — позагорать. Но Костя спал, и она не хотела шуметь, тревожить его сон. Однако все-таки очень хотелось выйти голой под утреннее солнце. Она стала отодвигать жалюзи по миллиметру, стараясь не издавать ни единого звука. А Костя не спал. Смотрел из-под приспущенных век, как она стоит голая и совершенная, отодвигает жалюзи, как мышка. Именно в эту минуту он понял, что любит. Сказал давно, а понял сейчас. И именно сейчас осознал, что это не страсть, а любовь. Страсть проходит, как температура. А любовь — нет. Хроническое состояние. Он не сможет вернуться в прежнюю жизнь без Кати. Он всегда будет вальсировать с ней под музыку любви. И даже если она будет злая — он будет кружить ее злую, вырывающуюся и смеяться над ней. Когда любовь — это всегда весело, даже если грустно. Всегда хорошо, даже если плохо.

А когда нет любви — становится уныло, хочется выть. А под вой — это уже не вальс. Совсем другой танец.

Все тайное становится явным. Жена случайно встретила Валерку Бехтерева, узнала про деньги в долг. Связала долг с отсутствием мужа. Отсутствие связала с южным загаром. Остальное Костя рассказал сам. Жена собрала чемодан и выгнала. Последнее слово было, естественно, за тещей. Но он сказал ей: «Меня оправдывает чувство». После чего за ним была захлопнута дверь, а Костя стал спускаться с лестницы пешком.

Костя оказался на улице, в прямом и переносном смысле этого слова. Ему было негде ночевать.

Звонить Кате он не хотел. Это не по-мужски — складывать на женщину свои проблемы. Отправился к Валерке Бехтереву. Валерка был холост и жил один.

— Ты что, дурак? — спросил Валерка, доставая из холодильника водку.

— Почему? — не понял Костя.

— Знаешь, как трудно найти порядочную жену? А ты взял и сам бросил.

— Я полюбил, — объяснил Костя.

— Ну и что? И люби на здоровье. А жену зачем бросать?

Валерка нарезал сыр и колбасу. «Жлобская еда», — подумал Костя. На Кипре он привык к свежим дарам моря: устрицам, креветкам. Колбаса казалась ему несвежей, пахнущей кошачьей мочой. Костя стал есть хлеб.

— Ты чего как в тюрьме? — спросил Валерка. Он сидел за столом, высокий и сильный. Физический труд закалил его. Валерка разлил водку по стаканам.

— Разве ты пьешь? — удивился Костя.

— А у нас без этого нельзя, — объяснил Валерка. — Вся бригада пьет. Без этого за стол не садятся. А я что, в стороне? Они не будут меня уважать. А что за бригадир без уважения коллектива...

Валерка профессионально опрокинул стакан.

— Ты стал типичный пролетариат, — заметил Костя.

— А какая разница? Интеллигент, пролетарий... Одно и то же. Просто книжек больше прочитали.

— Значит, не одно и то же.

Костя поселился у Валерки.

На ночь Валерка вытаскивал для Кости раскладушку. Ночью, когда Костя вставал по нужде, Валерка поднимал голову и спрашивал:

— Ты куда?

Потом поднимался и шел за Костей следом, будто контролировал. Если Костя хотел пить и сворачивал на кухню, то Валерка шел следом на кухню. Костя не мог понять, в чем дело, а потом догадался: Валерка где-то прячет деньги. У него тайник, и он боится, что Костя обнаружит и, конечно же, украдет.

Утром Валерка, отправляясь на работу, собирал «тормозок» — так называлась еда, которую рабочие брали с собой. Костя подозревал, что название происходит от слова «термос», но «термосок» произносить неудобно и как-то

непонятно. Поэтому — «тормозок». Удобно, хотя и бессмысленно. Валерка складывал в пакет вареную в мундире картошку, вареные яйца, неизменную колбасу, хлеб. Валерка тратил минимум на питание, экономил деньги и складывал их в тайник. До лучших времен. Как учили коммунисты, во имя светлого будущего. Но почему настоящее должно быть темнее будущего — непонятно.

Костя подъехал к Катиному дому на Бережковской набережной. Шел дождь. Люди горбились, как пингвины. А еще совсем недавно были море, солнце и любовь.

Костя остановил машину, поднялся на четвертый этаж, позвонил в квартиру двадцать.

Открыла Катя. Она была в синем атласном халате с японскими иероглифами.

— А я тебя потеряла, — сказала она. — Проходи.

— Ты одна? — проверил Костя.

— Одна. Но это не важно.

— Важно, — сказал Костя и обнял ее сразу в прихожей. Ладони скользили по шелку, как по Катиной коже. — Родная... — выдохнул он, хотя это было не его слово. Он никогда им не пользовался.

— А я тебе звоню, мне отвечают: он здесь больше не живет...

— Это правда, — подтвердил Костя. — Я ушел...

— Куда?

— Не знаю.

Катя отстранилась. Смотрела исподлобья.

— Из-за меня?

— Из-за нас, — поправил Костя.

Прошли на кухню. Костя заметил, что над плитой и мойкой — сине-белые изразцы. Должно быть, тоже из дворца.

Катя стала кормить кроликом, тушенным в сметане. На тарелке лежали две ноги.

— Кролик... — удивился Костя. — Я его двадцать лет не ел.

— Самое диетическое мясо.

— А зачем ты отдала все ноги?

— Почему все? Только две...

— А всего их сколько?

— Четыре, по-моему...

— Ну да... Это у кур две, — сообразил Костя.

Он стал есть, молча, умело отделяя мясо от кости. Было понятно, что они думали не о кролике, а о том, что делать дальше. Если Костя ушел, сделал ход, — значит, ответный ход за Катей. Она тоже должна совершить поступок. Уйти от мужа. Но куда? Из таких квартир не уходят в шалаш, даже с милым.

— Эта квартира чья, твоя или мужа? — спросил Костя.

— Общая. А что?

— Так... Все-таки кролика жалко. Кур не жалко, они глупые.

Костя забрасывал проблему словами. Но Катя поняла ход его мысли.

— Я поговорю со старухой, — сказала она. — Поживешь на даче. Я скажу ей, что ты будешь сторожем. Платить не надо.

— Кому платить? — не понял Костя.

— Ты ничего не платишь за аренду, а она — за твою работу.

— За какую работу?

— Сторожа.

— Но я не буду сторожем.

— Если ты там живешь, то это происходит автоматически.

Костя смотрел на Катю.

— Понял? — проверила она.

Теперь Катя забрасывала словами проблему: при чем тут старуха, сторож, платить... Дело в том, что Катя не хочет делать ответный ход. Она хочет оставить все как есть. В ее жизни ничего не меняется. Просто появляется любовник, живущий на природе. Секс плюс свежий воздух.

Свободный любовник потребует время. Времени у Кати нет.

— Если хочешь, я возьму тебя на работу, — предложила она.

— Куда?

— Шофером. На фирму. Бензин наш. Зарплата — пятьсот долларов.

— Это много или мало? — спросил Костя.

— Столько получает президент.

— Президент фирмы?

— Президент страны.

— Что я буду возить?

— Меня.

Таким образом Катя совмещала время, работу, любовь и семью.

— Ты согласен? — Катя посмотрела ему в глаза. Согласен ли он иметь статус обслуги?

— Я согласен. А сколько получает президент фирмы?

— Гораздо больше, — неопределенно ответила Катя.

— Больше, чем президент страны?

— Зачем тебе считать чужие деньги? Считай свои.

Костя уже посчитал, что при такой зарплате он легко отдаст долг Валерке Бехтереву и сможет помочь семье.

— Я согласен, — повторил Костя и принялся за кролика. Он согласился бы и на меньшее.

Катя села напротив, стала смотреть, как он ест. В этот момент она его любила. Она понимала, что он — ЕЕ, она может обрести его в собственность. МОЕ.

— Красота — это симметрия, — задумчиво проговорила Катя.

Это значило, что она находила Костю красивым.

— Что ты больше хочешь: любовь или богатство? — поинтересовался он.

— Все.

— Ну а все-таки... Если выбирать.

— А зачем выбирать? — удивилась Катя. — Любовь и богатство — это единственное, что никогда не надоедает.

Она сидела перед ним немножко бледная, молодая и хрупкая. Он подумал: в самом деле, зачем выбирать... Пусть у нее будет все, и я среди всего.

Фирма «Антиквар» располагалась в двухэтажном здании. Там были выставочные залы с картинами, бар с барменом, запасники типа кладовок. На втором этаже — про-

сторные рабочие кабинеты и Катин риэлтерский отсек. Служащие — в основном женщины, сдержанные, по-западному улыбчивые.

«Сладкая какашка» мелькнул пару раз, куда-то торопился. Кстати, у него было имя: Александр. Не Саша и не Шура. А именно — Александр.

Костя явился для подписания договора. Им занималась некая Клара Георгиевна — ухоженная, почти красивая. Иначе и быть не могло. Среди произведений искусства люди должны выглядеть соответственно.

Клара Георгиевна куда-то уходила, приходила. Костя видел через окно, как во дворе разгружали грузовик. Рабочие стаскивали растения в бочках, маленькие декоративные деревья. Видимо, предстояла выставка-продажа зимнего сада.

Появились крепкие мужики, сели возле Кости.

— Сейчас... — сказала им Клара Георгиевна и снова ушла.

— А ты откуда? — спросил молодой мужик с круглой головой.

— Шофер, — ответил Костя. — А что?

— Ничего. Мы думали, что ты тоже из оборонки.

Позже Костя узнал, что оборонка — это оборонная промышленность и они делают сувениры на продажу: сочетание бронзы и полудрагоценных камней — яшмы, малахита. Оборонка выживала. «Сладкая какашка» скупал их продукцию за копейки и продавал недорого. Среди шкатулок девятнадцатого века — современные бронзовые петухи. Все довольны.

— Идите в восьмой кабинет, — сказала Клара Георгиевна.

Мужики поднялись с энтузиазмом. Видимо, в восьмом кабинете давали деньги. Там располагалась бухгалтерия.

Мужики ушли. Возле Кости сел художник, непохожий на художника. Лицо сырое, как непропеченный хлеб.

— Не покупают, — пожаловался он. — Говорят, дорого... Говорят, ставь другую цену или забирай...

— А где ваша картина? — спросил Костя.

Художник показал пальцем на противоположную стену. На черном фоне — голова старика. Золотая рама. Красиво. Однако кому охота смотреть на чужое старое лицо, если это не Рембрандт, конечно...

Художник вскочил и устремился к нужному человеку. Нужный человек — коммерческий директор, маленького роста, стройный, лысоватый. Он слушал с непроницаемым лицом. Умел держать удар. Его главная задача — вовремя сказать: нет. Отказывать надо решительно и сразу, иначе погибнешь под собственными обещаниями.

Клара Георгиевна задерживалась. Костя смотрел на старика в золотой раме и невольно вспомнил свою бабушку. Она всегда улыбалась, глядя на Костю. Он звал ее «веселая бабушка Вера». Однажды летом они куда-то шли. Костя устал, просился на руки. Бабушка не соглашалась, четырехлетний Костя весил 20 килограммов. Это много — тащить такую тяжесть по жаре. Он ныл, цеплялся. Бабушка его оттолкнула, он не устоял и шлепнулся в лужу. Это было первое столкновение с несправедливостью: любящий человек — и в лужу. Бабушке стало стыдно, и она из солидарности села рядом с ним в

глубокую лужу. И неожиданно заплакала. Они сидели в луже обнявшись и плакали. Старый и малый. Сладость раскаяния, сладость прощения... Он запомнил эту лужу на всю жизнь.

А жена... Разве она не толкнула его в лужу, когда выгнала из дома? Да, у нее были причины. Но Костю оправдывало чувство. Жена должна была понять. Она должна была подняться над собой как над женщиной. Подняться над обидой.

Клара Георгиевна вернулась с печатью и договором. Костя поставил подпись в двух местах. Клара Георгиевна стукнула печатью, будто забила гвоздь.

Старуха оказалась дома.

Костя приехал за второй парой ключей, но явился без звонка и боялся не застать.

— Мне Катя звонила, — сказала старуха. — Я очень рада, что вы там поживете. Дом любит, когда в нем живут, смеются. Хотите чаю?

— С бутербродом, — подсказал Костя.

Он уселся за стол, и ему казалось, что он всегда здесь сидел.

Старуха налила чашку куриного бульона, поджарила хлеб в тостере.

Костя сделал глоток и замер от блаженства. Вспомнил, что весь день ничего не ел.

Раньше, как бы он ни уставал, — знал, что в конце дня теща нальет ему полную тарелку борща. А потом в отдельную тарелку положит большой кусок отварного мяса, розового от свеклы. А сейчас Костя — в вольном поле-

те, как ястреб. Что склюет, то и хорошо. Да и какой из него ястреб?

Старуха села напротив и смотрела с пониманием.

— Что-то случилось? — спросила она.

— Я ушел из семьи, — ответил Костя.

— И каков ваш статус?

— Рыцарь при знатной даме, — ответил Костя.

— Какой же вы дурак... — легко сказала старуха.

— У меня страсть, — как бы оправдался Костя.

— Страсть проходит, — сказала старуха. — А дети остаются. У вас, кажется, есть дети?

— Кажется, сын.

— У меня это было, — сказала старуха.

— А потом?

— Потом прошло.

— А сейчас?

— Что «сейчас»? — не поняла старуха.

— Вы жалеете о том, что это было? Или вы жалеете о том, что прошло?

— Это сломало мою жизнь. И очень осложнило жизнь моего сына. Я слишком дорого заплатила за любовь. Она того не стоила.

— Любовь у всех разная, — заметил Костя.

— Любовь — ОДНА. Люди разные.

Старуха поставила на стол винегрет. Костя стал есть вареные овощи, не чувствуя вкуса.

— Зачем я буду загадывать на пятьдесят лет вперед? — спросил он. — Я люблю, и все. А дальше: как будет, так и будет.

— Старость надо готовить смолоду, — сказала старуха. — Она является быстрее, чем вы думаете.

Зазвонил телефон. Это звонила Катя. Скучала. Отслеживала каждый шаг.

Возможно, она лишала его будущего, но наполняла настоящее. До краев. А кто сказал, что будущее главнее настоящего?

Костя поселился в доме с мезонином.

Катя первым делом привезла туда двух уборщиц, молодых хохлушек, и они буквально перевернули весь дом, отскоблили затвердевшую пыль, протерли даже стены и потолок. Выстирали занавески, вытряхнули и вытащили на морозное солнце все матрасы и одеяла. Постельное белье и полотенца Катя привезла новые.

Хохлушки работали четыре дня не покладая рук, как в спортивном зале под нагрузкой. И когда уборка была наконец закончена, дом явился своей прежней прелестью, со старой уютной мебелью, примитивной живописью. Время и прошлая жизнь как будто застряли в пакле между бревнами.

Хохлушки уехали. В доме стоял запах дерева. Возле камина лежали красиво нарезанные березовые чурочки.

Костя и Катя разожгли камин. Молча сидели, глядя на огонь. Обоим было ясно, что жизнь приобрела новое качество.

— Какое счастье — дом на земле, — сказала Катя. — Чтобы за дверью лес, а не мусоропровод. А

за окном березы, а не дома. Совсем другая картинка перед глазами.

— Я заработаю деньги и куплю тебе этот дом, — пообещал Костя.

— А где ты возьмешь деньги?

— С неба упадут.

— Тогда стой и смотри в небо.

Они обнялись.

— Знаешь, что мне в тебе нравится? — спросила Катя. — То, что ты рос, рос, но так и не вырос. Мальчишка...

— «Тебе твой мальчик на колени седую голову кладет», — вспомнил Костя.

Пролетел тихий ангел.

Смеркалось. Березы за окном казались особенно белыми, а ели особенно темными. Вот как выглядит счастье: картинка за окном, огонь в очаге. И тихий ангел...

Грянул кризис. Люди стали барахтаться, тонуть и выплывать. «Антиквар» тоже стал барахтаться, тонуть и всплывать ненадолго, чтобы опять опуститься на дно.

Цены на квартиры упали. Богатые уносили ноги в теплые края, а обнищавший средний класс уже не стремился купить квартиру или картину, как это было прежде.

Катя крутилась как белка в колесе. Наладила связь с русскоязычной диаспорой в Америке, Израиле, переправляла картины, матрешки, хохлому. Шереметьево, таможня, груз, справки, взятки. Костя старался не вникать, потому что вникать было противно. Деньги вымогали на

всех уровнях. Задерживали груз, не торопились отвечать на вопросы. Равнодушно смотрели в сторону, иногда напрягали лоб и возводили глаза в потолок. Прямо не говорили, цену не называли, ждали, когда сам догадаешься. Косте всякий раз хотелось развернуться и уйти. Его вальсирующая натура не выносила явной наглости. Ему было легче оставаться в машине и ждать — что он и делал. Катя — наоборот. Она любила преодоления. Чем сложнее задача, тем радостнее победа. Она виртуозно и мастерски со всеми договаривалась, в ход шли улыбки и полуулыбки, и взгляды из-под тонких бровей, и долларовые купюры. Желание победить было почти материальное. Его можно было потрогать. И каждый человек, сталкиваясь с таким желанием, не мог от него увернуться.

Костя ловил себя на мысли: из Кати могла бы выйти промышленная шпионка. Она могла бы выведать любую суперсекретную информацию. Жаль, что ее способности уходили на такую мелочь. Она ловила рыбку в мутной жиже, а могла бы выйти на морские просторы.

Со временем Катя нравилась ему все больше. Его восхищало в ней все, даже то, как она говорит по телефону. Это всегда был маленький устный экспромт. Когда человек одарен природой, это проявляется во всем, и даже в том, как он носит головной убор. Катя носила маленькие шапочки над глазами. Ни тебе челочки, ни набекрень — прямо и на глаза. И в этом тоже был характер.

Костя — ведомый. Исполнитель. Он не умел проявлять инициативу. Он мог только выполнить поручение...

Поручений было невпроворот. Костя был ее извозчиком, курьером, носильщиком, секретарем, сопровождающим лицом, доверенным лицом, братом, отцом, любовником. Он был ВСЕМ.

Вокруг Кати кишели посредники, ворье — все хотели делать деньги из воздуха. Катя погружалась в стрессы. Костя лечил ее заботой и любовью. В такие минуты он говорил:

— Да брось ты все... Зачем тебе это надо?

— Не могу, — сознавалась Катя.

— Тебе адреналина не хватает. Ты уже как наркоманка...

Но Костя и сам уже не хотел для себя иного режима. Он уже втянулся в этот густой график, в насыщенный ритм. Как бегун на дистанции. Человеку, привыкшему бежать, скучно ходить пешком или стоять на месте.

Каждое утро Костя ждал Катю у подъезда, и не было лучшего дела, чем сидеть и ждать, когда она спустится.

Потом — целый день марафона. Обедали вместе, чаще всего на фирме. Александр держал повара, что очень грамотно. Если хочешь, чтобы люди работали, они должны быть сыты.

Ночевали врозь. Катя должна была из любой точки земного шара вернуться ночевать домой.

Костя отвозил ее и возвращался на дачу. Он спал один, в той самой комнате с полукруглым окном.

Дом по ночам разговаривал: скрипел, вздыхал, иногда ухал как филин. Костя просыпался и уже не мог заснуть.

Мышь гоняла пластмассовый шарик. Костя не понимал: где она его взяла. Потом вдруг догадался, что это легкий камешек керамзита. Под половыми досками был насыпан керамзит для утепления.

Костя брал ботинок, запускал в сторону шума. Мышь затихала, но ненадолго. Тогда Костя включал свет. Грызуны не любят освещения. Однако при свете Костя не мог заснуть. Он лежал и смотрел в потолок.

В голову лезли воспоминания, угрызали совесть. Костя вспоминал жену, как увидел ее в первый раз. Она сидела в библиотеке, в красной кофте, и подняла на него глаза. И в этот момент он уже знал, что женится на ней. Куда все делось?

Вспоминал, как в первый раз увидел сына. Он понимал умом, что это его сын, но ничего не чувствовал, кроме того, что все усложнилось. Его личная жизнь окончилась, теперь все будет подчинено этому существу. Так оно и оказалось.

На Костю свалилась тяжелая плита из пеленок, вторая тяжелая плита — тещин характер. Костя спал на кухне, теща над его головой кипятила пеленки, ребенка мучили газы — он орал, жена не высыпалась. А где-то шумела другая жизнь, свободная любовь, пространство и расстояния. И вот он ушел в другую жизнь. В этой другой жизни есть все, что он хотел, кроме сына.

Катя, возможно, могла бы родить ему сына, но ей было некогда. Она летала по жизни как ласточка. Ребенок вышибет ее из движения. Это уже будет не ласточка, другая птица, вроде курицы.

У Кати — другие приоритеты. Она владела интуицией бизнеса. Видела, где лежат денежные возможности. А это тоже талант. Тоже азарт.

Старуха сказала: «Какой же вы дурак...» Это звучало как диагноз.

«Какой же я дурак...» Под эти мысли Костя засыпал, и мышь его уже не тревожила. Возможно, уходила спать.

Раз в неделю Костя заезжал домой, проведать своих и завезти деньги. «Домой»... «своих»... Хоть он и бросил их на ржавый гвоздь, они все равно остались своими. И дом остался домом, поскольку другого у него не было.

Костя перестраивался в крайний ряд и ехал по улице, в конце которой размещался маленький бетонный заводик, а дальше шли дома — серые, бетонные, безрадостные.

«Свои» — это ядовитая теща, обожаемый сын и жена, которую он жалел. Жалость — сильное и богоугодное чувство, но оно ничего не решало и было бессильно перед другим чувством: любовь.

Теща все понимала, ничего не могла изменить и была набита злобой от макушки до пят, как адский мешок. Находиться возле нее было опасно, как возле шаровой молнии. Того и гляди, шарахнет разрядом.

На этот раз теща открыла ему в пальто.

— Хорошо, что пришел. Поди погуляй с Вадиком. Мне надо уйти.

— Куда? — удивился Костя, как будто у тещи не могло быть своих дел.

— Погуляй два часа, — не ответила теща. — Потом дай ему поесть, еда на плите.

У Кости не было свободного времени, но его интересы не учитывались.

— А где Лариса? — спросил Костя.

— У Ларисы и спрашивай...

Теща намекала неизвестно на что. Давала понять: раз тебе можно, почему ей нельзя...

Но ведь он приехал «домой». К «своим». Они должны хранить огонь в очаге, даже в его отсутствие.

Вадик быстро оделся, они вышли на улицу.

Костя посмотрел на часы, было пять. Гулять надо до семи. Катя будет искать, звонить. Но ничего. Он имеет право уделить своему сыну два часа в неделю.

К Вадику приблизился худенький мальчик в джинсах и курточке, явно старше, лет двенадцати.

— Поиграем? — предложил он.

Вадик весь осветился. С ним хотел играть большой мальчик, а это очень престижно. Это все равно как к рядовому подошел полковник и предложил поиграть.

Они стали носиться друг за другом. Игра называлась «салки», а в детстве Кости она называлась «пятнашки», что, в сущности, одно и то же. Салки — от слова салить — значит коснуться и запятнать.

Когда дети остановились продышаться, Костя спросил:

— Мальчик, тебя как зовут?

— Я девочка. Саша.

Костя немножко удивился, но промолчал. Какая, в общем, разница... Девочка двигалась и общалась как мальчишка. Она была изобретательной, придумывала разные

игры. Вадик с восторгом ей подчинялся. Девочка — явный лидер, Вадик — исполнитель.

— Сколько время? — неожиданно спросила девочка.

— Надо говорить: «который час», — поправил Костя. — Без двадцати семь...

Девочка посмотрела в сторону, что-то соображая. Потом подставила Вадику подножку и толкнула. Вадик рухнул. Девочка наклонилась, зачерпнула снег варежкой и натерла Вадику лицо.

— Малолетка... — с презрением проговорила она и выпрямилась. В довершение поддела Вадика ногой и перекатила его, как бревно.

Потом повернулась и пошла прочь.

Вадик поднялся, смотрел ей вслед. Его личико, вымытое снегом, было свежим и ошеломленным. Он не понимал, что произошло. Только что играли, дружили, и вдруг, на пустом месте... За что?

Девочка удалялась, уносила в сумрак свою непредсказуемость.

Костя все понял. Она отомстила Вадику за то, что он был НЕ ТОТ. За неимением лучшего общества она вынуждена была опуститься до малолетки. Но она не простила и теперь уходила гордая, несмирившаяся. А Вадик ничего не понимал и смотрел ей вслед как дурак.

— Она что, с ума сошла? — проговорил Вадик, обратив на отца свои промытые удивленные глаза.

— Просто ей пора домой, — дипломатично ответил Костя. — И нам тоже пора.

Вадик вложил свою руку в ладонь отца. Ему было важно за кого-то держаться. И не за «кого-то», а за сильного и своего.

Костя держал его руку в своей и знал: что бы ни случилось, он всегда будет ему отцом. Всегда.

Костя любил сидеть в Катином офисе и смотреть, как она работает. Белые стены, компьютеры, картины, крутящееся кресло — поворачивайся куда хочешь.

Но сегодня никуда поворачиваться не надо. Перед Катей стояла клиентка по фамилии Смородa, с ударением на последней гласной. Такая фамилия вполне могла служить и как имя. Очень красиво.

Смородa была молодая, рыжая, очень прямая, в шубе до пят. Не улыбалась, не хотела нравиться. Смотрела спокойно и прямо.

Катя привыкла к тому, что клиенты нервничали, торговались до крови, боялись прогадать, покрывались нервными пятнами.

Смородa ничем не покрывалась, хотя дело касалось огромной суммы. Смородa выставила на продажу квартиру в центре, в доме архитектора Казакова. Квартира — лучше не придумаешь, ушла тут же, как блин со сковороды. Смородa явилась оформлять сделку.

— Дело в том, что я уезжаю, — сообщила она. — Я хочу, чтобы вы переправили мои деньги в Лос-Анджелес.

— У вас есть там счет? — спросила Катя.

— Нет. У меня там нет никого и ничего.

— Но может быть, друзья. На их счет.

— У меня нет друзей. — Сморода пожала плечами.

— А как же быть? — не поняла Катя.

— Я уеду. Открою там счет. Сообщу его вам, по факсу. И вы мне переведете.

— А вы не боитесь бросать свои деньги на незнакомых людей? — удивилась Катя. — Вы мне доверяете?

— У меня нет другого выхода. Я должна срочно уехать.

По-видимому, Сморода сама была исключительно порядочным человеком и мерила других на свой аршин. Если она не в состоянии обмануть, то почему она должна заподозрить в обмане Катю...

Катя все это понимала, но она давно в бизнесе и знала: бизнес по недвижимости — это стадо, бегущее к корыту. И вдруг среди стада — прямая, загадочная Сморода.

— А почему вы уезжаете? — не выдержала Катя. Любопытство было неуместным, но Катю интересовали причины, по которым можно бросить целое состояние.

— Причина более важная, чем деньги, — неопределенно ответила Сморода.

Что может быть важнее денег: любовь? смерть? Но лезть в душу было неудобно.

Катя протянула ей визитку с указанием факса и телефона, Сморода спокойно попрощалась и ушла.

Через неделю пришел факс от Смороды с реквизитами банка. Катя переправила все деньги минус комис-

сионные. Еще через неделю раздался звонок. Это звонила Смородa, чтобы сказать одно слово:

— Спасибо. — Она была немногословной.

— Как вы поживаете? — не выдержала Катя.

— Я поживаю на океане. Хожу каждое утро по десять километров.

Катя не поняла: хорошо это или плохо — десять километров каждый день.

— Вам там нравится? — проверила она.

— Теперь уже нравится...

Смородa молчала. Кате не хотелось с ней расставаться, но ничего другого не оставалось.

— До свидания, — попрощалась Катя. Положила трубку и пошла вниз.

Надо было влиться в стадо, бегущее к корыту. Внизу ждал Костя, чтобы облегчить и украсить этот бег, сделать его радостным, почти сверкающим. Подставлял руку, плечо и сердце. Пел под гитару — ретро и современную попсу.

Катя спускалась по лестнице и думала: как хорошо, что есть на свете музыка и Смородa — территория любви и благородства.

Костя отвез Катю домой.

Перед тем как выйти из машины, она долго сидела. Потом сказала:

— Не хочется уходить.

— Не уходи, — отозвался Костя.

Это была его мечта: приватизировать Катю в собственность.

— Не могу.

— Почему? — не понял Костя. — Разве это не от тебя зависит?

— Александр выкинет меня из дела. Он хозяин.

— Я буду твой хозяин.

— Хозяин без денег — это не хозяин.

— Тогда иди домой...

Катя имела манеру давать надежду, а потом ее забирать. И тогда Костя, взметнувшись душой, шлепался этой же душой в лужу, ударялся сердцем.

Катя сидела.

Костя открыл ей дверь. Катя медленно выгрузила ноги, потом остальное тело.

— Что для тебя важнее, деньги или чувства? — спросил Костя.

— Все! Я не могу жить без любви и не могу жить без дела.

Катя скрылась в подъезде.

Костя предлагал ей выбор. А зачем? Когда можно иметь то и другое. Это было обидно для Кости. Он мог бы погрузиться в тягостные мысли, но его отвлекала малая нужда. Костя понял, что не доедет до дачи. Отлить было негде: набережная освещалась фонарями.

Костя въехал во двор. Двор был сквозной, напротив — широкая арка.

Костя вылез из машины, остановился возле багажника и принялся за дело. Струя лилась долго, дарила облегчение, почти счастье. Физическое счастье уравновешивало душевную травму.

Не отрываясь от основного дела, Костя успел заметить: в противоположной арке возник молодой человек.

Он бежал, и не просто бежал — мчался с такой скоростью, будто собирался взлететь. Еще секунда — ноги перестанут толкать землю и он взлетит, как реактивный снаряд.

Снаряд за несколько секунд пересек двор, поравнялся с Костиной машиной и метнул в раскрытую дверь какую-то тяжесть типа рюкзака. Промчался дальше, нырнул в арку, которая была за Костиной спиной.

Костя обернулся — никого. Был и нет. Парень буквально побил мировой рекорд по бегу на короткую дистанцию. Правда, неизвестно: сколько он бежал до этого.

Костя закончил дело. Поднял молнию и увидел перед собой две зажженные фары. Во двор въезжала машина. Она проехала до середины и остановилась. Оттуда выскочили двое и беспокойно огляделись по сторонам. Двор был темен и пуст, если не считать Кости. Один из двоих приблизился к Косте и спросил:

— Здесь никто не пробегал?

— Я не видел, — соврал Костя. Он помнил разборку с Филином и не хотел повторений.

Было ясно, что первый убегал, а эти двое догоняли. По тому, КАК убегал первый, легко догадаться, что он уносил свою жизнь. Не меньше. Он сбросил рюкзак, как сбрасывают лишний груз с перегруженного вертолета.

Второй внимательно глядел на Костю и тем самым давал возможность рассмотреть себя. У него были большой нос, узкие и даже на вид жесткие губы, брови, стекающие к углам глаз. Он мучительно кого-то напоминал. Шарля Азнавура — вот кого, понял Костя.

Азнавур покрутил головой, досадливо сплюнул. Пошел к своей машине. Костя видел, как машина попятилась и выехала тем же путем, что и въехала.

Все произошло за три минуты, как будто прокрутили микрофильм с четкой раскадровкой:

1. Бегущий парень-снаряд.
2. Скинутый рюкзак.
3. Машина с фарами.
4. Общение с Азнавуром.
5. Отъезд машины.

Все. Микрофильм окончен. Действие тускло освещалось редкими фонарями. Никаких шумов, если не считать падающей струи в начале первой минуты.

Костя сел в машину. Рюкзак залетел на заднее сиденье, притулился в углу, как испуганная собака. Взрывчатка, испугался Костя. Но кто будет бегать со взрывчаткой...

Костя перегнулся, потрогал рюкзак. Под пальцами — бугристое, твердое. «Деньги», — промелькнуло в мозгу. Он сначала догадался, а потом уже увидел. Растянул веревку на рюкзаке, сунул руку и достал пачку. Перетянута резинкой. Зелень. Стодолларовые купюры.

Костя испытал двойное чувство: беспокойство и покой. С одной стороны, это очень странно и неожиданно — получить мешок с деньгами. А с другой стороны, ничего странного. Он их ждал. Правда, Костя полагал, что деньги упадут с неба, а они залетели сбоку. Подарок судьбы. Судьба любит Стрельцов и делает им подарки.

Однако за такие подарки могут и пристрелить. Костя вспомнил бегущего — убегающего, и второго, похо-

жего на Азнавура. Оба бандиты скорее всего. Вор у вора дубинку украл.

Костя тронул машину с места, не дай Бог бандиты вернутся. Выехал в арку, переключил скорость — вперед, по набережной к Ленинским горам. Оттуда — на Ленинский проспект. Строй сменился, но все осталось Ленинским.

Костя смотрел перед собой, размышлял: может быть, выкинуть этот рюкзак, от греха подальше. Но тогда его найдет кто-то другой, Скорпион или Козерог.

Второй вариант: отвезти в госбанк. Однако сейчас государство тоже ворует, иначе откуда такое тотальное обнищание граждан? Отдать государству — значит бросить в дырявый мешок... Может быть, отвезти в милицию? То-то милиционер удивится. Заберет деньги, а потом пристрелит Костю как свидетеля.

Машина встала. Наступило время пик. Впереди тянулась километровая пробка. Машины трубили, как слоны. Казалось, что пробка никогда не рассосется.

Косте очень хотелось убрать себя с трассы, он свернул в первый попавшийся рукав и вдруг сообразил, что находится недалеко от своего дома. Свернул под светофор и оказался на своей улице. Здесь пробки не было. Костя свободно устремился по привычному когда-то маршруту. Как изменился Костин маршрут... Как это грустно и грубо и прекрасно. Но жизнь вообще груба и прекрасна, а главное — непредсказуема. Еще утром Костя был нищим, а сейчас он миллионер и держит жизнь в своих руках, если не считать рук Азнавура.

Костя резко затормозил машину, взял из бардачка отвертку. Вышел и, присев на корточки, открутил номера — сначала впереди машины, потом сзади. Открыл багажник и бросил туда номера. Азнавур мог запомнить номера, а это опасно. Теперь Костина машина была безликой. Просто светло-бежевая «пятерка». Мало ли таких на дороге. Если остановит милиционер, Костя что-нибудь наврет, откупится. Даст одну купюру из пачки. Костя оглянулся на рюкзак, прикинул, сколько там пачек. Не меньше ста. Каждая пачка по десять тысяч. Значит, миллион. Костя погладил рюкзак, как собаку по спине. Радость медленно, но полно заливала все его существо. Примешивалась уверенность: ТАК и должно было случиться. Компенсация судьбы.

Катя говорила: «Хозяин без денег — не хозяин». А теперь он хозяин с деньгами, с гитарой и красным шарфиком. Красавец. Плейбой, как молодой Кеннеди, хотя его больше нет. Как Майкл Джексон, хотя Майкл — не мужчина, а существо, совершенное двигательное устройство. Значит, как кто? Как Костя. Этого хватает.

Дверь отворила жена в ночной рубашке. Она болела, стояла бледная, лохматая, с закутанным горлом.

Обычно при появлении Кости она что-то демонстрировала: показное равнодушие, поруганную любовь, христианскую покорность судьбе. Сегодня жена была совершенно естественная, спокойная, немножко ушастая. Когда-то эти уши-лопухи вызывали в Косте нежность и восторг. Ему казалось, что он любит ее именно за уши. Милый недостаток оттенял достоинства. Жена была

составлена из одних сплошных достоинств. Но как оказалось, мы любим не тех, кто нам нравится.

— Раздевайся, — спокойно предложила жена.

Костя снял дубленку и шапку. Остался в твидовом пиджаке и шарфике. Жена всегда издевалась над его манерой прихорашиваться, но это ей скорее нравилось. Костя обнял жену. Она спокойно переждала этот дружественный жест.

Рюкзак Костя оставил в машине, задвинул его под сиденье. Было бы странно явиться в дом с миллионом, а потом унести его обратно. Надо либо отдавать весь рюкзак, либо не показывать.

— А где Вадик? — спросил Костя.

— У соседей.

— Что он там делает?

— Дружит, — ответила жена. — Там мальчик ровесник.

— Хороший мальчик? Ты его знаешь? — проверил Костя.

— Ладно тебе. Амбулаторный папаша...

— Что значит «амбулаторный»? — не понял Костя.

— Есть лечение стационарное, а есть амбулаторное: пришел-ушел...

Костя промолчал. Подул на замерзшие руки. Он всегда терял перчатки. Жена это знала. Ей стало его жаль.

— Поешь? — спросила она.

— Спасибо... — уклонился Костя.

— Да или нет? — уточнила жена.

— Скорее, нет. Твоя мать меня отравит.

— Ее можно понять. — Жена налила себе чай из термоса. — Ты зачеркнул всю ее жизнь.

— При чем тут она?

— Ты бросил на ржавый гвоздь ее дочь и ее внука.

— Но я оставил вам квартиру.

Квартиру действительно достал Костин отец, когда еще был у корыта.

— Еще бы не хватало, чтобы ты выгнал нас на улицу...

— Я вас не бросил. Я делаю все, что могу.

— А что ты можешь? Прийти и сесть с виноватым лицом?

Теща перестала греметь на кухне посудой. Прислушивалась.

— Меня оправдывают чувства...

— Плевала я на твои чувства. У меня ребенок.

— У нас ребенок, — поправил Костя.

— Он стоит больших денег. Лечение, обучение, спорт, не говоря о еде. Он растет, он должен хорошо питаться. А мы на что живем? На мамину пенсию и на твое пособие. Ты приносишь копейки в потном кулаке. Потом убегаешь, и мы не уверены — принесешь ли ты в следующий раз.

— Сколько тебе надо, чтобы чувствовать себя уверенной?

— Тысячу долларов в месяц. Я бы купила себе машину-автомат, научилась водить и стала независимой.

— Тысяча в месяц — это значит двенадцать тысяч в год? — посчитал Костя.

— Плюс отдых на море и лечение. Значит, пятнадцать тысяч в год, — уточнила жена.

— Дай мне наволочку, — попросил Костя.

— Зачем?

— Не задавай вопросов. Просто дай наволочку, и все.

— Чистую или грязную?

— Все равно.

— Дай ему грязную, — крикнула теща. — Ему стекла на машине протереть.

Жена ушла в ванную и вернулась с наволочкой едко-голубого цвета. Должно быть, достала из грязного белья.

Костя взял наволочку и вышел.

Машина стояла на месте, и рюкзак тоже лежал на месте, как спящая собака. Костя сел на заднее сиденье, поставил рюкзак рядом и отсчитал тридцать пачек. Получилось половина наволочки. Туда свободно влезло бы еще столько же. Костя кинул еще две пачки, на машину-автомат.

Мысленно Костя разделил миллион на три равные части: жене — триста тысяч. Кате — триста. И себе. И все. Миллион кончился. Это не так уж и много, оказывается.

Костя затянул веревки и задвинул рюкзак поглубже под сиденье. Запер машину и рысцой побежал в подъезд. Поднялся на лифте. Радость, как лифт, поднималась в нем от живота к горлу. Какое это счастье одаривать близких тебе людей и обиженных тобой.

Костя вошел в дом с наволочкой, громко потопал ногами, сбивая налипший на ботинки снег. Прошагал в

комнату и высыпал на стол содержимое наволочки. Пачки денег шлепались друг на друга, образуя горку, некоторые съезжали сверху вниз.

Жена онемела, ее глаза слегка вытаращились, челюсть слегка отвисла. Она являла собой одно сплошное удивление. Теща стояла с невозмутимым видом. Ни один мускул на ее лице не дрогнул, только в глазу обозначился голубой кристалл.

— Здесь триста тысяч долларов, — объяснил Костя. — Это алименты за двадцать лет. И двадцать тысяч на машину.

Жена стояла бледная, ушастая, перепуганная. Казалось, она ничего не понимала.

— Ты сказала: пятнадцать тысяч в год, — растолковал Костя. — Десять лет — сто пятьдесят тысяч, двадцать лет — триста тысяч.

— А машина — отдельно? — спросила теща. — Или входит в триста тысяч?

— Отдельно. Здесь триста двадцать, — уточнил Костя.

Жена очнулась.

— А где ты это взял? — спросила она.

— Бог послал.

— На дом?

— В машину забросили.

— Ты шутишь?

— Нет. Это правда.

Теща удалилась на минуту, потом вернулась с чистой наволочкой и стала сгребать деньги со стола, как будто

это была гречка. Ее ладонь бы́ла к упной, округлой, как у медведицы.

— А ты не боишься, что за деньгами придут? — спросила жена.

— Если придут, мы скажем, что ты с нами не живешь, ничего не знаем, — проговорила теща.

Она удалилась с наволочкой в другую комнату.

— Сейчас будет делать тайник, — предположила жена.

Для тещи ничего в мире не было дороже денег, потому что только с помощью денег она могла действенно проявить свою любовь к близким.

— Поешь, Костя... — предложила теща, обозначившись в дверях. — У меня сегодня твой любимый бефстроганов. Настоящий. С лучком и жареной картошечкой.

Костя сглотнул, и по его горлу прокатился кадык.

Теща метнулась на кухню, и уже через несколько минут перед Костей стоял полный обед: первое, второе и третье. Теща — талантливая кулинарка, и кулинарный талант — редкость, как всякий талант. К тому же теща готовила со счастьем в душе, потому что обслуживала родных людей: дочь и внука. У нее был талант преданности. Теща оказалась при многих талантах. Раньше Костя этого не замечал. Раньше ему казалось: какая разница — что ешь, лишь бы насытиться. Но сейчас, после года бездомности, когда не ешь, а перекусываешь, он понял, что еда определяет качество жизни. И это имеет отношение не только к здоровью, но и к достоинству.

Костя ел и мычал от наслаждения.

— У тебя зуб болит? — спросила жена.

— Нет. Просто вкусно.

Теща села напротив. С нежностью смотрела, как Костя ест.

— Не борщ, а песня, — отозвался Костя. — Спасибо.

— Это тебе спасибо. Ты хороший, Костя. Добрый. Что бы мы без тебя делали... Мы бы пропали без тебя. Спасибо тебе, — с чувством проговорила теща.

— Да не за что, — смутился Костя. — Я же их не заработал. Шальные деньги, неизвестного происхождения. Может, от наркобизнеса.

— Деньги не пахнут, — возразила теща. — Ты мог бы и не дать. Или дать одну пачку. Мы были бы рады и одной. Ты добрый, Костя. Дай Бог тебе здоровья.

Костя поднял глаза на тещу и увидел, что она симпатичная — женственная и голубоглазая. И ромашковая прелесть жены — от тещи.

— А вы раньше кем работали? — спросил Костя. — Какое у вас образование?

Оказывается, он даже не знал внутреннего мира тещи. Не знал и не интересовался.

— Я работала в гороно. Осуществляла учебный процесс.

Значит, жена — наследственная учительница.

— А где ваш муж? — спросил Костя.

— Муж объелся груш, — не ответила теща.

Значит, теща пораженка. И жена унаследовала ее участь. Жена не слушала их беседы. Она сидела, бледная, и смотрела в стену.

— Ты чем-то недовольна? — спросила теща.

— Откупился, — сказала жена.

— А что бы ты выбрала: я без денег или деньги без меня? — поинтересовался Костя.

— Ты с деньгами, — ответила жена.

«Все женщины одинаковы», — подумал Костя и взялся за бефстроганов. Зазвонил телефон. Жена взяла трубку, послушала и сказала:

— Он здесь больше не живет... Понятия не имею...

— Кто это? — насторожился Костя.

— Не сказали. Мужик какой-то...

— А голос с акцентом?

— Нет. Нормальный. Интеллигентный даже. По голосу — не бандит.

— А что, у бандитов особенные голоса? Они что, не люди? — спросила теща.

Костя отодвинул тарелку. У него пропал аппетит.

— Я пойду. — Он встал.

— Доешь, — попросила теща.

— Пусть идет, — сказала жена. — Я боюсь.

Жена боялась, что Костю ищут, и он сам этого боялся.

И только теща не боялась ничего. Она была как ловкий опытный зверь в лесу, который хорошо знал лес и чувствовал свою силу.

— Я сбегаю за Вадиком, — услужливо предложила теща.

— Не надо, — отрезала жена.

Костя оделся и вышел во двор с мутным чувством.

Кто его искал? Может быть, школьный друг Миша Ушаков? Они вместе учились в школе, потом в институте. Потом Миша ушел в науку.

А вдруг звонил Азнавур?

Костя вспомнил его лицо со стекающими вниз бровями. Казалось, сейчас откроет рот и запоет с характерным азнавуровским блеянием. Но у бандита были дела поважнее, чем петь. Убить — вот его дела.

Может быть, Азнавур ехал следом и выследил? Костя оглянулся по сторонам. Никаких следов преследования. Несколько машин стояли темные, со снежными шапками на крышах. Значит, ими не пользовались несколько дней по крайней мере.

А вдруг парень-снаряд запомнил номера, узнал в ГАИ — кто владелец. И теперь ищет.

Надо немедленно избавиться от машины. Отогнать в лес и поджечь. И заявить об угоне. Пусть эта машина числится в розыске. А если кто-то из бандитов явится, то можно сказать: угнали месяц назад. Ездит кто-то другой. Значит, и деньги у другого. Костя сел в машину. Нащупал рукой рюкзак. На месте.

Он вдруг почувствовал, что устал. Хотелось лечь и закрыть глаза. И ни о чем не думать. А уничтожить машину можно и завтра. На рассвете. Все главные события происходят чаще всего на рассвете: любовь, рождение, смерть... И смерть машины в том числе. Зачем же искать другое время, когда природа сама его нашла...

Костя подъехал к даче.

Сосед — молодой и пузатый, похожий на переросшего младенца, расчищал въезд перед гаражом. Орудовал

широкой лопатой. Увидев Костю, он разогнулся. Верхняя линия века была прямая, как у Ленина. Вернее, как у башкирских народностей. «Эмбрион Винг», — подумал про него Костя.

Костя стал отворять широкие ворота. Ворота просели, стояли низко, выпавший мягкий снег тормозил движение.

— Расчистить тебе? — предложил Винг.

— Не надо, — отказался Костя. Для него было важнее, чтобы Винг исчез, испарился.

— Я тебе лопату оставлю, если что... Поставишь сюда.

Винг прислонил лопату к стенке гаража и удалился, довольный собой. Костя не стал загонять машину во двор. Он внутренне расстался со своей машиной, и ему было все равно, что с ней будет дальше: угонят или частично ограбят.

Костя вытащил рюкзак и пошел в дом.

Дом обдал его теплом, как родной. Они с домом подружились — это было очевидно. И даже семья мышей — пара взрослых и три мышонка сосуществовали с Костей вполне дружелюбно. Не появлялись при свете, только ночью. Не грызли хлеб — только подбирали крошки. Мышата не пищали, не нарушали покой. Иногда, очень редко, Костя видел их мордочки с глазками-бусинками — чудные, воспитанные дети.

Костя скинул дубленку, выворотил рюкзак на пол. Сел рядом и стал складывать кучки по десять пачек. Получилось пять полных и одна половина. Пятьсот пять-

десят тысяч. Триста двадцать он отдал, значит, изначально был не миллион, а восемьсот семьдесят тысяч. Тоже неплохо.

Костя решил не оставлять деньги в рюкзаке. На нем были следы бандитских рук. Он достал из кладовки свою спортивную сумку и покидал в нее пачки. От денег пахло лежалой бумагой плюс чем-то слегка химическим. «А вдруг фальшивые?» — мелькнуло в голове. Тогда теща его убьет.

Сумка была полна, но не доверху. Костя легко задвинул молнию. Теперь это надо куда-то спрятать. Куда?

Костя сообразил: если он спрячет, воры найдут. Воры — психологи и прекрасно понимают психологию обывателя. Значит, надо НЕ прятать. Положить на видное место. Например, на шкаф. Воры войдут и увидят на шкафу спортивную сумку. Они даже внимания не обратят. Начнут рыться внутри шкафа, выворачивать все на пол.

Костя подумал и сунул в сумку спортивный костюм, на тот случай, если воры все же сунутся. Костюма оказалось мало, пачки просвечивали по бокам. Костя добавил две пары носков. Закрыл молнию и взгромоздил сумку на шкаф. И почувствовал большое облегчение. Ему захотелось вернуться в привычную жизнь.

Костя включил телевизор, углубился в новости. Телевизор — это его малая наркомания. Костя любил просмотреть все новости и вести. Без этого его ломало.

Костя внимательно выслушал все, что произошло за сегодняшний день в стране. Впечатлительные люди на Западе, прослушав наши последние известия, схватились

бы за головы, зарыдали и укрепились в мысли: в этой стране жить нельзя. А оказывается, можно.

После новостей шел боевик, где крутой мужик бил по морде ногами. Развернется, как балерина, и — раз по морде ногой, как рукой. Костя с наслаждением впитывал в себя телевизионную продукцию. Потом задумался и уже не смотрел, а телевизор все работал, и время шло. И обеспокоенные мышата выглядывали, как бы спрашивая: ну, когда ты потушишь свет?

Костя лег наконец. Вертелся в темноте. Что-то ему мешало. Какая-то неоформленная мысль... И вдруг она оформилась, эта мысль. Простая, как все гениальное. Он должен купить у старухи этот дом. Оформить и взять в собственность. Ему ведь негде жить... А теперь у него будет собственный загородный дом в ближнем Подмосковье. Он сделает суперремонт, купит мебель из светлой сосны в скандинавском стиле. Наймет приходящую тетку. В доме — всегда чистота и еда, пахнет свежей выпечкой с ванилью. Катя будет приходить в ухоженный красивый дом. Подъезд к дому — расчищен. У порога — две пары пластиковых лыж... Спорт, секс и бизнес — формула американцев. Они примут для себя эту формулу.

И вообще, хорошо бы поскорее истратить эти чертовы деньги. Избавиться от них. Тогда пусть приходит Азнавур и задает вопросы...

Костя проснулся в половине девятого. Сработали внутренние часы. Он открыл глаза и подумал: Катя... Даже не подумал, а вдохнул, как воздух.

В полукруглом окне — гениальный пейзаж: ель сквозь две березы. Заснеженные лапы елей и яркая белизна берез — на перламутре неба.

Природа видна только за городом. А природа — это замысел создателя. Трудно себе представить, что береза возникла в результате эволюции. Она возникла в воображении создателя, и он ее воплотил...

По утрам у Кости всегда было хорошее настроение — признак здоровья и знак Стрельца. Костя быстро собрался. Перекинул сумку через плечо. Она весила, как пять килограммов картошки. Ощутимо. Вышел из дома.

Звонить Кате он не стал. Он просто подгонит к ее дому джип «поджеро», просто введет ее в свой загородный дом, покажет гениальный пейзаж в полукруглой раме.

Брошенная машина стояла за забором, как брошенная жена. Надо было как-то от нее избавляться.

Эмбрион Винг околачивался возле своего гаража, вел переговоры с работягой. Зимой рабочая сила стоила дешевле, и Винг предпочитал вести строительные работы в холода.

Забор между ними выглядел странно: до середины он шел прямо, а с середины — сворачивал, как пьяный, и шел по биссектрисе. У Кости было большое желание поставить забор на положенное место.

— Привет! — крикнул Винг, глядя нахально и одновременно трусливо. Он проверял глазами: заметил Костя или нет. Если Костя кулак по натуре, он не потерпит самозахвата. Если интеллектуал — не обратит внимания. Есть третий вариант — интеллигент. Заметит, но постесняется сказать.

— Послушай, — отозвался Костя, — а чего это забор стоит линзой?

Винг понял, что Костя заметил. Решил слегка наехать.

— Деревянный дом полезнее, чем кирпичный. Но непрактичный. Горит.

Костя не отозвался. Он не понял: Винг философствует или пугает. А если пугает, то что за этим стоит? Вернее, кто за этим стоит? Может быть, Винг — уголовник, что тоже вероятно. В стране незаметно и постепенно произошла легализация криминального отсека. Они уже живут рядом, заседают в правительстве, скоро сядут с тобой за один стол. С ними придется дружить, ходить в гости. Однако сосед — это навсегда. И устраивать себе под боком Чечню — недальновидно и неразумно. Лучше погасить скандал в зародыше.

— Давай так: ты распрямляешь забор, а я плачу деньги. Я покупаю у тебя этот треугольник. Называй цену, — предложил Костя.

Эмбрион Винг смотрел недоверчиво.

— Сколько ты хочешь?

— Машину, — не мигая произнес сосед.

— Какую? — не понял Костя.

— А вот эту. — Он ткнул пальцем на сиротливую Костину машину.

В Косте толкнулась радость: не надо возиться с машиной, жечь ее, — он никогда этого не делал, и неизвестно — сумеет ли поджечь. Может загореться лес, и Костя начнет метаться среди деревьев и сам сгорит не дай Бог...

— А зачем она тебе? — простодушно спросил Костя.

— Жена хочет учиться. Надо такую машину, чтобы не жалко разбить. А твою не жалко.

Костя сделал вид, что задумался. Потом сделал вид, что решился.

— Идет, — согласился Костя. — Бери.

— Прямо сейчас? — не поверил сосед.

— А чего тянуть...

— А ты на чем будешь ездить? — позаботился Винг.

— У меня служебная есть, — соврал Костя.

Сосед обернулся к рабочему. Это был крепкий молодой украинец по имени Васек. В поселке работали молдаване, армяне, украинцы, или, как их называли, хохлы. Дети разных народов. Они приезжали в поисках работы, и по этой миграции становилось понятно, что экономика разрушилась. Люди летят, как осенние листья, гонимые ветром перестройки.

— Переставишь забор? — спросил эмбрион Винг.

— Когда? — уточнил Васек.

— Зараз, — по-хохлацки ответил Винг. Он хотел казаться своим, свойским — так легче торговаться, сбивать цену. — За чей счет?

Этот вопрос относился к Косте. Костя готов был оплатить всю стоимость, но боялся привлечь внимание неожиданной щедростью.

— Пополам, — сказал Костя.

Эмбрион уставился в пространство, и Костя видел: он подсчитывает возможность его обдурить. Такая воз-

можность есть. Он возьмет с Кости всю сумму и скажет, что это — половина.

Лицо у соседа было круглое, пухлое, как волдырь. Косте было противно возле него стоять, хотя все складывалось на редкость удачно.

— А оформление? — спохватился сосед.

— Пожалуйста. Я дам тебе генеральную доверенность с правом продажи.

— Когда?

— Все равно. Хоть сегодня.

Винг посмотрел на часы.

— Успеем, — сказал он. — У них обед с половины первого. Сейчас я Гале позвоню.

— Какой Гале? — насторожился Костя.

— В нотариальной конторе. У меня там все схвачено.

Сосед достал из кармана сотовый телефон и стал договариваться с Галей, чтобы она ждала и не уходила.

Костя вспомнил, что оставил дома рюкзак. А это улика.

— Я сейчас, — предупредил он и пошел в дом.

Рюкзак валялся в прихожей. Костя взял его, чтобы выкинуть в любой мусорный бак.

Сосед продолжал разговаривать. После Гали он позвонил еще в несколько мест.

Костя раскрыл свой багажник и сбросил туда рюкзак. При утреннем свете рюкзак выглядел грязным, в подтеках. Косте показалось, что это замытые пятна крови.

Хохол вскинул лопату на плечо и пошел искать себе напарника. У него была сверхзадача: как можно больше набрать заказов и послать деньги домой, в маленький горс док, который называется Золотоноша.

У Кости возникло желание догнать Васька и дать ему половину пачки. Но добро не бывает без последствий. Васек может решить, что это в долг, и убьет Костю, чтобы не отдавать долг. Либо молва разнесется по поселку, и Костей быстро заинтересуются.

Костя вздохнул. Ему было жаль этих людей. Их здесь эксплуатировали, как рабов, и кидали. И они сами тоже кидали. Рабское существование лишает человека нравственности.

Жизнь пестра и многослойна. Поэтому лучше всего в нее не вникать, не нырять в черные глубины, а вальсировать на поверхности.

Нотариальная контора находилась возле окружной дороги.

Костя включил печь. Ехали молча. От теплого воздуха стало душно. Костя расстегнулся.

— Хороший у тебя шарфик, — заметил сосед.

— Мне тоже нравится, — согласился Костя, отсекая тем самым все намеки.

— А откуда он у тебя?

— Жена подарила, — соврал Костя. Так было короче.

— А мне моя только теплые кальсоны покупает, хотя знает: я кальсоны не ношу.

— Заботится, — отозвался Костя.

— А ты кальсоны носишь? — спросил Винг.

— Нет.

— Сейчас, по-моему, никто не носит. Она их в военторге покупает.

— Ну вот, военные носят...

Тема была исчерпана. Замолчали.

— Тебя как зовут? — спросил Костя.

— Влад. А что?

— Да ничего. Просто узнал, как зовут. Мы же соседи.

— Ну да...

— А что значит Влад? Владислав?

— Владимир.

— Ну и был бы Володя.

— Меня все детство дразнили: «Вовка-морковка, спереди веревка, сзади барабан по всем городам»... Тебя дразнили в детстве?

— Не помню.

— Не помнишь, значит, не дразнили. Счастливый человек. В детстве бывает очень обидно. Потом на всю жизнь остается.

Костя молчал, думал о спортивной сумке, которая лежала за его спиной. Мысленно пересчитывал деньги, размышлял — сколько вложить в новую машину. Нет смысла покупать самую дорогую. Машины все равно принято менять раз в пять лет.

— Ты, наверное, думаешь, что я жлоб? — спросил Влад и сделал паузу, ожидая возражения. Но возражения не последовало. — Я не жлоб. Просто я в

этом углу гараж хотел поставить. Поэтому и прихватил шесть метров.

— Но это же чужие метры. Попросил бы или купил.

— А ты бы сказал: нет. Не дам и не продам.

— Так бы и сказал, — подтвердил Костя.

— Ну вот. А мне без гаража невозможно. А поставить его больше некуда.

— Почему некуда? Поставь в противоположный угол.

— А там надо деревья рубить. Три березы снимать. Жалко.

— Но есть понятие: мое и чужое.

— А еще есть шанс. Единственный шанс в жизни. Если отобью — будет мое, а не отобью — уйдет навсегда. С концами. Ну, я и попробовал. Любого человека можно напугать или купить. Деньги и страх.

— Сталин так же считал, — заметил Костя.

— Вот и царствовал всю жизнь. Страной должен править диктатор. Это как отец с ремнем в доме. Всегда будет порядок.

— А ты чем занимаешься? — спросил Костя.

— Всем. Мороженым торговал. Пломбиры, эскимо.

— Выгодно?

— А зачем бы я стал этим заниматься?

— Тогда зачем тебе диктатор? Он бы тебя посадил на паек. На пайку.

— Я бы выкрутился. Я никогда не пропаду. Я — непотопляемый.

Влад нажал на кнопку приемника, оттуда выплеснулась песня, неизвестно в чьем исполнении. Влад подхватил с энтузиазмом и пел не хуже певца.

— Люблю эту группу, тащусь... Ты мне оставишь кассетник?

— Бери, — согласился Костя.

— По-моему, у тебя колодка стучит, — насторожился Влад.

— Починишь.

— Ремонт сейчас дорогой...

— Заплатишь. Машина ведь даром досталась.

— Ничего подобного, — запротестовал Влад. — В этом месте земля дорогая. Одна сотка — две штуки. А твоя машина — полторы от силы.

— Так ведь земля моя. Ты забыл... — напомнил Костя.

Остановились возле нотариальной конторы. Костя усомнился: оставлять деньги в машине или взять с собой. С собой — вернее. Он закинул сумку за плечо и пошел за Владом в нотариальную контору.

В коридоре сидела очередь — человек восемь. На полтора часа. Коридор был довольно узкий, стулья старые, стены крашены зеленой масляной краской. Картину дополняли сквозняки и тусклое освещение, поскольку коридор был без окон.

Костя подумал: если бы люди каким-то образом узнали, что у меня за спиной в сумке полмиллиона, что бы сделали? Навалились скопом. Но вид у людей был не агрессивный и слегка заторможенный. Когда приходишь в такие вот государственные коридоры, процессы в организме замедляются, как у медведя в спячке. Отсюда такие заторможенные лица.

Влад, ни на кого не глядя, прошел в кабинет.

— Куда? — подхватилась женщина.

— Мы занимали, — бросил Влад. — Он подтвердит.

«Он» — это Костя, появившийся полминуты назад.

Влад исчез за дверью, но тут же высунулся.

— Заходи, чего стал, — велел он Косте.

Наглость, как любое боевое действие, должна быть внезапной и краткой и действовать как электрошок. Влад хорошо это усвоил.

Нотариус Галя сидела за столом возле окна. На ней была мохеровая вязаная шапка, какие носили при социализме. Серый костюм не украшал Галю, а просто сохранял тепло. Похоже, Гале было все равно, как она выглядит. А может, у нее был другой вкус. Не плохой, а другой.

Влад коротко разъяснил Гале, что от нее требуется. Галя быстро достала анкеты, сама их заполнила, вписала все, что надо.

Костя протянул документы на машину, технический паспорт и свой паспорт.

— Потом зарегистрируете в ГАИ, — предупредила Галя.

— А зачем? — спросил Влад.

— Такой порядок. Все передвижки по машине должны быть зарегистрированы в ГАИ.

— Это хорошо, — заметил Влад.

Доверенность казалась ему ненадежным документом. Хозяин машины мог в любую минуту передумать. Сегодня дал доверенность, завтра отобрал. Влад сам не раз так поступал.

— До которого часа ГАИ? — спросил он у Гали.

Влад хотел все провернуть за один день, чтобы закрепить завоевание. Чтобы у Кости не было дороги назад. Он изо всех сил торопился на самолет, в который была заложена бомба.

Галя назвала сумму за нотариальные услуги и процент за срочность.

— У меня с собой нет денег, — заметил Влад. — Ты заплати. Я тебе потом отдам.

Костя знал, что Влад не отдаст. Но это не имело значения.

— Доллары берете? — спросил Костя.

— Только рубли, — ответила Галя.

— А что же делать? — растерялся Костя.

— У нас тут рядом сберкасса. Можете разменять.

— Да возьми доллары, — заговорщически посоветовал Влад.

— Не имею права, — грустно ответила Галя.

Если бы деньги предназначались лично ей, Галя, конечно, взяла бы доллары. Но она была на государственной службе и должна была соблюдать финансовую дисциплину.

Костя и Влад вышли из кабинета. Женщина из очереди с брезгливым упреком посмотрела на Костю.

— А еще в шарфике...

— Что? — не понял Костя.

— Шарфик надели, а ведете себя как нахал, — объяснила женщина.

— А-а... — Костя постоял в раздумье. Потом наклонился к женщине и тихо спросил: — А где здесь туалет?

— Ну, вы вообще... — Женщина покачала головой. Может быть, ей казалось, что нахалы не должны посещать туалет. Либо она считала, что нахалы не имеют права общаться с приличными людьми.

— В конце коридора, направо, — сказал старик, сидящий вторым.

— Спасибо, — поблагодарил Костя и пошел направо.

Этот туалет каким-то образом снял агрессию с очереди. Он как бы примирил всех со всеми. Получалось, что все люди — люди. Каждый человек — человек.

Костя зашел в туалет. Снял сумку и поставил ее на сливной бачок — повыше и почище. Достал одну пачку, вытащил из нее десять сотенных бумажек — пусть будут. И сунул в карман дубленки. Начатую пачку положил во внутренний карман пиджака. Потом застегнул сумку, закинул за плечо. Перед тем как выйти, с отвращением помочился. Больше всего он любил мочиться на даче, на землю. Ему казалось, что через струю он общается с космосом. Приобщается к круговороту. И процесс мочеиспускания из функции организма превращается в нечто подобное медитации. А общественные туалеты повергали в депрессию, как будто он обнимался с трупом.

Все, что касалось тела, чистоты, физических проявлений, было для Кости важно. Может быть, это особенность Стрельцов.

Костя и Влад вышли из нотариальной конторы и стали искать сберкассу.

Возле Костиного сердца лежала пачка с деньгами, и не какими-нибудь, а благородными долларами. В кармане тоже лежали деньги, грели бедро. На спине — куча денег, но она воспринималась как тяжесть. Когда так много — деньги становятся абстракцией. Нечто подобное происходит во время землетрясения. Когда погибает один человек — это трагедия. Когда много — это статистика.

Девушка в окошке сберкассы приняла купюры и долго их разглядывала, проверяла на каком-то аппарате, только что не нюхала.

Костя стоял замерев и напрягшись. Очень может быть, что ему достались фальшивые деньги. В бандитской среде это так естественно.

Если теща узнает, что деньги фальшивые — она его просто убьет. Или скорее всего сама умрет. А Костя этого не хотел. Он уже успел ее полюбить. Он желал ей здоровья и долголетия.

Девушка закончила проверку и выдала ему пачку русских денег. Значит, доллары оказались настоящими. Значит, у жены все в порядке. Он ее обеспечил и теперь освобожден от гнетущего чувства вины. А она свободна от унизительного состояния бедности. Деньги не сделают жену счастливой. Но они сделают ее свободной. А это тоже большое дело.

У Кости была мечта — летать. Люди в двадцать первом веке изобретут крылья на моторчике. Маленький, портативный летательный аппарат... Величиной со спортивную сумку. Он будет за спиной, на лямках. Нажал на кнопку — крылья плавно выдвинулись и распро-

стерлись. Нажал вторую кнопку — и взлетел. Как во сне. Можно задавать любую высоту, любую скорость.

Костя вспомнил об аппарате, потому что за его спиной, в сумке, — крылья. Они уже тянут его вверх. Сообщают радость и высоту.

Костя отсчитал рубли для Гали, отдал Владу. Влад тоже пересчитал, шевеля губами. Потом он перестал считать, но продолжал шевелить губами. Не мог остановиться. Видимо, деньги действовали на него гипнотически. Это была его медитация.

Костя и Влад вернулись в нотариальную контору, получили необходимые документы.

— Теперь в ГАИ, — сказал Влад. — Там как раз обед кончился.

Влад боялся, что Костя одумается и порвет доверенность. Поэтому он немножко нервничал и немножко наезжал. Костя, в свою очередь, мечтал освободиться от машины и от Влада, который ему надоел своей деловитостью, а главное — голосом. У него был жлобский голос, не наполненный знаниями. Только голос, а под ним — пустота.

Влад сел за руль. Тронулись.

— Хорошая машина, — похвалил Влад. — Мягкая. Даже жалко разбивать. Я себе ее возьму, на каждый день.

— У тебя же есть машина, — вспомнил Костя.

— У меня две. «Поджеро» и «феррари». Но они дорогие. Их жалко, а эту не жалко. Будет каждодневная, а те выходные.

— Машина нужна, чтобы ездить, — заметил Костя. — А не в гараже держать, как туфли в шкафу.

— Моя жена так же говорит... Я на мебель чехлы надеваю, а жена стаскивает. Говорит: хочется жить в красоте...

— Будешь беречь, а жить когда? — спросил Костя.

— Моя жена так же говорит. Я скупой, бережливый, экономный... А знаешь почему?

— Не знаю.

— Потому, что я очень долго жил очень плохо. И мои родители очень долго жили очень плохо. Я устал. Я больше так не хочу. Я теперь очень долго буду жить очень хорошо. Ни одного дня не отдавать черту. Понял?

«Неплохо, — подумал Костя. — Ни одного дня не отдавать черту...»

Подъехали к ГАИ.

— Подожди, — предупредил Влад.

Он выскочил из машины. Скрылся в дверях ГАИ.

Костя ждал, безучастно глядя перед собой. Было както тревожно сидеть возле милиции с мешком денег. Хоть ГАИ и не милиция, но все равно.

Влад появился быстро — энергичный и озабоченный.

— Если хочешь быстрей, надо башлять...

— Чего надо? — не понял Костя.

— Башли. Ты как будто вчера родился. Давай...

Костя сунул руку в карман дубленки и вытащил стодолларовую банкноту.

— Много, — сказал Влад.

— Других у меня нет.

— Ну давай...

Влад взял деньги и скрылся.

Костя испугался, что сейчас выйдет страж порядка и спросит: «Откуда у вас валюта? Откройте сумку... Пройдемте...» И это будет дорога в один конец.

Через пять минут Влад вышел вместе с начальником — этакий капитан Катани, красивый, не подумаешь, что взяточник. В Косте все напряглось. Зачем он вышел?

— Где номера? — громко крикнул Влад.

— В багажнике, — ответил Костя. — А что?

Влад что-то сказал Катани. Катани покивал головой. Они расстались, явно довольные друг другом.

Влад сел в машину.

— Номера те же останутся, — пояснил Влад. — Меньше волокиты.

Выехали на проспект.

«Неужели все позади?» — подумал Костя.

— Деньги все делают, — философски ответил Влад. — Надо только уметь дать.

— А чего там уметь? Протянул и дал.

— Ничего подобного. Надо уметь быть своим.

— В Америке этого нет, — заметил Костя.

— Знаешь, какая зарплата у полицейских? А у наших ментов — знаешь какая?

Выехали на широкий проспект. По правой стороне стояли узкие высокие дома, как воздетые к небу пальцы. В одном из таких домов жил Миша Ушаков.

— Останови, — попросил Костя. — Я сойду.

— А чего? Поедем на дачу. У меня коньяк есть бочковой. Целая канистра.

Костя догадался: Влад не отказывает себе в предметах роскоши, к коим относится коньяк. Но старается совместить роскошь и жесткую экономию. И тогда получается бочковой коньяк.

— Ты кто по гороскопу? — спросил Костя.

— Дева.

Костя знал, что мужчины-Девы — жадные, аккуратные и красивые. Жадность — совпадала с Владом. А красота — нет. Хотя что-то симпатичное в нем все-таки было. Недвусмысленность. Влад не хотел казаться лучше, чем он был.

— Притормози, — попросил Костя.

Влад остановил машину. Выпустил Костю. Теперь машина была его, и только его. Он рванул ее с места, будто это был «поджеро» или «феррари». Но это была «пятерка» «Жигули», замешанная в историю. Тот же бочковой коньяк в канистре.

Миша Ушаков был дома, как обычно.

Последние три года он сидел возле парализованной мамы. Попеременно с женой. Денег на сиделку у них не было.

Мама требовала ухода, как грудной ребенок, с той разницей, что ребенок растет и впереди у него большое будущее. Труд во имя жизни. А здесь — тупиковая ветка.

Миша обрадовался Косте. Он радовался любому человеку, который размыкал его пространство. Дом как бы проветривался жизнью.

Миша заметил, что человек имеет несколько кругов. Первый круг — это круг кровообращения, биология, то, что внутри человека.

Второй круг — это связь с родными: мужем, женой, детьми, родителями — кровный круг.

Третий круг — связь с друзьями, сотрудниками по работе — более дальний круг, наполняющий человека информацией.

И четвертый круг — расширенная информация: путешествия, впечатления.

Особенно полноценным четвертый круг бывает у людей, имеющих славу и власть. Слава — тоже власть. А власть — тоже слава.

Этот четвертый круг наиболее полно питает человека. Поэтому так многие устремляются к власти и жаждут славы.

Когда человек заболевает, круги постепенно сужаются: с четвертого — на третий, с третьего — на второй и в конце концов — на первый, когда уже ничего не интересно, кроме своего организма.

Мишина мама сохраняла два круга: первый и второй. Себя и Мишу. Больше ничего и никого.

Первое время она бунтовала: почему это несчастье случилось именно с ней. А теперь уже не бунтовала: случилось и случилось.

Единственное, она очень жалела Мишу. Качество его жизни ухудшилось. Она тащила сына за собой в два круга, отсекая третий и четвертый. Ей хотелось, чтобы Миша жил полноценной жизнью. Она была даже согласна умереть, но как человек верующий — не могла

наложить на себя руки. А если честно, то и не хотела. Все шло как шло.

А Миша хотел только одного: чтобы его мама жила и смотрела на него любящими глазами.

Жена была старше Миши, безумно его ревновала, боялась потерять, и такая ситуация в доме ее, как ни странно, устраивала. Она делала жену необходимой. Человеком, без которого не обойтись.

Жена тоже обрадовалась Косте. Она вообще не разрешала себе плохих настроений. Организованная, сделанная женщина.

Костя разделся в прихожей. Вместе с Мишей прошел в его кабинет. Полированный чешский гарнитур, модерн шестидесятых годов. Кресло — просто помоечное, прикрытое пестрой тряпкой. Стулья расшатались, однако служили. Вещи живут дольше человека. Было очевидно, что Мише и его жене плевать, что вокруг.

Равнодушие к комфорту — наследие «совковых» времен. Но и бескорыстное служение науке — тоже оттуда. Из «совка».

— Как у тебя дела? — спросил Костя.

Они с Мишей виделись редко, но от разлуки дружба не портилась, не засыхала. Каждый раз при встрече Косте казалось, что они расстались только вчера.

— Мама лежит, наука стоит, — сообщил Миша. — Финансирование нулевое. Половина лаборатории в Америке. Живут под Сан-Франциско. Чуваев уехал на прошлой неделе. А туберкулез вернулся.

— Кто? — не понял Костя.

— Не кто, а что. Туберкулез. В девятнадцатом веке назывался чахоткой.

— Но ведь изобрели пенициллин... — вспомнил Костя.

— Пятьдесят лет назад. Туберкулез приспособился. Мутировал. И вернулся. Грядет чахотка двадцатого века.

— Что же делать?

— Мы посылали письмо президенту. Я разговаривал с Харитоновым...

Миша замолчал. Потом очнулся.

— Выпить хочешь? — спросил он.

Костя заметил, что женщины всегда предлагают поесть, а мужчины — выпить. Костя вспомнил, что он без машины, а значит, может выпить.

Вышли на кухню. Жена — ее звали Сильва — сварила сосиски. Разогрела заранее приготовленную вермишель.

Сосиски были пересолены.

Изначально плохое мясо, и в него добавлена соль.

Крупный ученый жил в бедности, ел дешевые сосиски. А мог бы уехать под Сан-Франциско, иметь дом с бассейном. А его мама сидела бы в шезлонге, на лужайке перед домом. И ее руку лизал бы черный дог. Но для Миши самым главным был мутирующий туберкулез.

Миша разлил водку по стаканам. Выпили.

— Так что Харитонов? — напомнил Костя.

— Харитонов сказал, что сейчас страна летит в пропасть и надо подождать... Они могут лететь еще семьдесят лет. У нас ведь все по семьдесят лет.

— А ты не хочешь уехать? — спросил Костя. — Какая разница, где бороться против туберкулеза?

— Разница, — отозвался Миша.

— Почему?

— Я там ничего не придумаю. Я только здесь могу работать. В этой комнате. У меня здесь мозги вертятся. А ТАМ стоят.

— Но ты же не пробовал...

— А зачем пробовать? Я и так знаю. Рыбы живут в воде, птицы в небе, а русские — в России.

— А сколько тебе надо денег? — спросил Костя.

— Много.

— Что такое «много»?

— А почему ты спрашиваешь?

— У меня спонсор есть. Он может дать.

— Спонсор — не идиот. Деньги вернутся не скоро. А может, и никогда. Просто люди перестанут умирать от туберкулеза. Харитонов тоже спросил: «Когда вернутся деньги?» Если бы я ему сказал: «Завтра», — был бы другой разговор. Никого не интересует здоровье нации. Всех интересуют только деньги.

— А сколько стоит твоя программа?

— Да я не о всей программе. Мне бы только достать биологический продукт антибиотиков.

— Что? — не понял Костя.

— Бактерии, грибы — природный антибиотик. Они вырабатывают вещество, которое защищает от окружающих бактерий...

— Это дорого? — поинтересовался Костя.

— Если учитывать приборы, химическую посуду, труд лаборантов, то в сто тысяч можно уложиться.

— Сто тысяч чего?

— Ну не рублей же... Я обращался в банки, мне говорят: кризис.

Костя принес из прихожей сумку и стал выкладывать на стол пачки. Миша смотрел с ужасом, как будто увидел привидение.

— Откуда это у тебя? — шепотом спросил Миша.

— Я получил наследство.

— Откуда?

— У меня дедушка в Израиле. У него там нефтяная скважина.

— А разве в Израиле есть нефть? — удивился Миша. — По-моему, ты врешь.

— Какая тебе разница? Дело ведь не в нефти, а в деньгах.

Костя отодвинул в сторону десять пачек. Миша смотрел задумчиво.

— Я думал, что ты русский...

— Я русский.

— А дедушка в Израиле откуда?

— А там тоже много русских. Все живут везде.

В кухню вошла Сильва. Застыла при виде денег. Но ненадолго. И ни одного вопроса. Вышколенная, как гувернантка в богатом доме. Собрала посуду со стола и сложила в раковину.

— Я завтра же закажу Шульцу штаммы, — объявил Миша.

— Шульц — это кто? — спросил Костя.

— Немец.

— Хорошо, — одобрил Костя. — Шульц не украдет.

Миша разлил остатки водки. Сильва поставила на стол магазинное печенье. Вышла.

— Мистика какая-то... — проговорил Миша. — Я всегда знал, что мы выкрутимся. Случится чудо... И вот оно — чудо.

— У меня к тебе просьба: не говори никому, где ты взял деньги.

— Не скажу, — пообещал Миша.

— Поклянись.

— Клянусь.

— Чем?

— Честным словом.

Мишиного честного слова было вполне достаточно.

— Я пошел. — Костя поднялся.

Миша не хотел расставаться сразу, резко. Это все равно что резко затормозить, и тогда можно удариться головой о стекло.

Миша продлевал расставание, как бы плавно тормозил.

Вместе вышли во двор. Зимой смеркается рано. Сумеречное освещение было очень красивым. Все четко, как через темное стекло.

— Чудо только маскируется под чудо. А на самом деле — это проявление справедливости, — сказал Миша.

— А ты считаешь, справедливость есть? — серьезно спросил Костя.

Чужие деньги попали к Косте. Он их раздает широкой рукой. Разве это справедливо?

А может быть, как раз справедливо. Скорее всего это деньги, полученные от фальшивой водки или от наркотиков. Иначе откуда такие бешеные суммы у таких молодых людей? Пусть лучше они попадут в руки теще, которая всю жизнь работала на эту страну и не получила от нее ничего, кроме нищенской пенсии. Бедную тещу использовали и кинули, как теперь говорят. И науку кинули. Значит, Костя частично восстановил справедливость.

— Конечно, есть, — сказал Миша. — Ведь свалили памятник Дзержинскому.

— Через семьдесят лет...

— Это лучше, чем никогда, — возразил Миша.

Фон неба темнел и постепенно растворял в себе дома и деревья.

«Как время, — подумал Костя. — Все в себе растворяет. Целые поколения...»

Вдруг зажглись фонари, и стало как-то театрально.

— Я хотел тебе кое-что сказать... — начал Миша.

«Сейчас скажет, что у него есть другая женщина», — испугался Костя.

— Никто, кроме мамы, не знает, какой я был маленький. В ней я весь, как в компьютерной памяти, — проговорил Миша. — Если она уйдет, она все унесет с собой и останется только то, что Я СЕЙЧАС. Без корней и без прошлого...

Костя задумался. Он заметил: когда у человека нет детей, то всю свою любовь он складывает на родителей.

Миша любил маму удвоенной любовью, как больного ребенка.

— И еще... — проговорил Миша.

Костя напрягся.

— Спасибо тебе...

— И все? — проверил Костя.

— Все.

— Тогда я пошел, — с облегчением сказал Костя. Поправил на плече сумку.

— А ты не боишься, что тебя ограбят? — спросил Миша.

— А откуда кто знает?

И в самом деле. Откуда кто знает, что лежит у человека в спортивной сумке? Может, книги, может, теннисная ракетка...

Они разошлись. Костя испытывал чувство, похожее на вдохновение.

Что его вдохновило? Мишино «спасибо», или то, что немец вышлет штаммы, или просто Миша, который любит свою маму, а жена любит Мишу, а Миша науку — и везде любовь кружит над головами.

Костя взял машину и поехал к старухе. Он решил отдать ей деньги прямо сейчас. Ему подсознательно и сознательно хотелось освободиться от дурных денег. Поменять деньги на результат.

За рулем сидела молодая женщина, видимо, тоже занималась частным извозом.

Костя опустился на заднее сиденье, осторожно прикрыл дверцу, назвал адрес старухи «улица Кирова, семнадцать» и замолчал. Углубился в подсчеты.

Сколько было денег? Сколько осталось? На что их потратить? Только скорее. И тогда пусть приходит Азнавур и задает вопросы.

— Как поедем? — Женщина обернулась и посмотрела на Костю. На ней была круглая шапочка, отороченная белым мехом. Как у Снегурочки. — Через центр или по кольцу?

— Самая короткая дорога та, которую знаешь, — сформулировал Костя.

— Тогда по кольцу...

— Простите... дурацкий вопрос. Если бы вы нашли много денег, что бы вы сделали?

— Много — это сколько? — уточнила Снегурочка.

— Чемодан.

— Я бы зарыла их в землю. И сама бы уехала.

— Зачем?

— Боялась бы...

— А потом?

— Потом, через год, откопала бы.

— А дальше?

— Дала бы батюшке на храм. У нас очень хороший батюшка. У него семь человек детей. Он так тяжело живет.

— А зачем так много детей?

— Сколько Бог даст.

— Пусть государство поможет. Церковь ведь не отделена от государства.

— А что с того? — Снегурочка обернулась. У нее были густо, по-новогоднему, накрашены глаза. — Мы все оказались брошены государством. Каждый выживает как может.

— А муж у вас есть? — спросил Костя.

— Немножко... — неопределенно ответила Снегурочка, и Костя понял, что она больше рассчитывает на Бога, чем на мужа.

— Здесь под светофор направо, — руководил Костя.

— А вы крещеный? — спросила Снегурочка.

— Нет.

— Это плохо.

— Почему?

— Ангела-хранителя нет. Вы предоставлены самому себе. Вас никто не охраняет.

Костя вдруг подумал: это правда. Его никто не охраняет.

— А в моем возрасте можно креститься? — спросил он.

— В любом можно. Хотите, наш батюшка вас окрестит? — Снегурочка обернулась и посмотрела на Костю новогодними глазами.

— Хочу, — серьезно ответил Костя.

Снегурочка достала из сумки маленькую книжечку величиной с карманный блокнот. Протянула Косте.

— Это молитвенник, — объяснила она. — Тут на последней странице наш адрес и телефон.

— Телефон храма?

— Нет. Телефон нашего православного издательства. Меня Рита зовут. Скажете: позовите Риту.

Костя взял молитвенник. Положил в карман.

— А для себя лично вы что-нибудь хотите? — спросил Костя.

— У меня все есть.

— Ну... У английской королевы тоже все есть, и даже больше, чем у вас. И то ей что-то надо...

— А чего у нее больше? Король? Так он мне и даром не нужен. Королевство? Я без него обойдусь. А остальное у нас одинаково: земля, хлеб, вера...

— Стоп! — скомандовал Костя.

Машина встала. Костя вышел. В кармане лежала начатая пачка. Он отсчитал семь сотенных банкнот и протянул. Почему семь, он не знал. Так получилось. Семь — мистическая цифра. Семь дней — это неделя.

Снегурочка включила свет. Долго смотрела на деньги. Потом спросила:

— Что это?

— Жертвоприношение, — ответил Костя.

— Спаси вас Бог, — просто сказала Снегурочка. — Приходите, если что...

— Можно вопрос? — спросил Костя.

Рита выжидательно смотрела на него.

— Если вы веруете, зачем краситесь?

— Так красивее. Господь не против. Он на такие мелочи внимания не обращает...

Машина весело фыркнула и ушла.

Костя сделал маленькое открытие: «милостыня» — от слова «милость». Сделайте милость... Явите божескую милость... Значит, милость угодна Богу, как творчество, как любовь. Костя посожалел, что у него мало

денег. Оказывается, миллион — не так уж много. Это даже мало на самом деле...

— А вы мне снились, — обрадовалась старуха. — И еще знаете что? Битые яйца.

Костя прошел и разделся. Старуха журчала, как весенний ручей:

— Раньше битые яйца снились мне к деньгам. А сейчас — просто к битым яйцам. Я пожарю вам омлет с сыром.

Старуха ушла на кухню.

Костя достал из сумки десять пачек и положил их на середину стола.

Стал ждать.

Старуха вошла с тарелкой. Остановилась. Строго спросила:

— Что это?

— Сто тысяч, — смущенно отозвался Костя. — За дачу. Я покупаю у вас дачу. Вы не против?

— Я против того, чтобы грязные деньги лежали на обеденном столе.

— Почему грязные?

— Вы представляете, через сколько рук они прошли? И что это были за руки... Уберите их куда-нибудь.

Костя перенес деньги на подоконник.

— Подите вымойте руки, — попросила старуха.

— Я же вилкой буду есть, — возразил Костя.

— А хлеб?

Костя послушно отправился в ванную комнату. В ванной была стерильная чистота, как в операционной.

Костя понял, что у старухи — мания чистоты. Деньги для нее — источник грязи. Но не только. Деньги — это потеря загородного дома, который помнит ее маленькой и молодой. А вместо этого куча денег, как битая скорлупа.

Костя вернулся в комнату. Старуха сидела, глядя в стол.

— Они сказали, что никогда не вернутся в Россию, — проговорила старуха.

Костя понял, что речь идет о сыне и о его семье.

— Они сказали, что в Америке лучше их детям. Дети — уже американцы.

— А им самим? — спросил Костя.

— Им самим трудно. Эмиграция — это всегда стресс.

— Значит, свою жизнь под ноги детям? — спросил Костя.

— И мою тоже. Но зато теперь у меня есть много денег. Я буду менять их на рубли и докладывать к пенсии. Как вы думаете, сколько надо докладывать?

— Если скромно, то долларов двести, — предположил Костя.

— Значит, сто тысяч разделить на двести — будет пятьсот месяцев. В году двенадцать месяцев. Пятьсот делим на двенадцать — сорок. Мне хватит на сорок лет... Я буду покупать куриные сосиски в супермаркете.

— А в Америку вы не хотите переехать?

— Не хочу. Зачем я буду путаться у них под ногами? Там вместе не живут. Не принято. Это в Индии

живут вместе. Чем ниже уровень жизни, тем крепче связь поколений.

Костя слушал, но ему казалось, что его никогда не коснутся старость, ненужность. У него все — здесь и сейчас.

Он подошел к телефону и набрал номер Кати. Мобильный был отключен, а домашний занят. Катя не прекращала работу дома, вела деловые переговоры по телефону.

Костя вернулся к столу. Старуха разливала чай.

— Это деньги ваши или ее? — Старуха кивнула на телефон.

— Мои.

— У вас такие деньги?

— А что?

— Ничего. Вы не производите впечатления делового человека.

— А деловые — они какие?

— Они сначала едут в нотариальную контору, оформляют сделку, а уж потом расплачиваются.

— А мы — наоборот, — сказал Костя. — Сегодня деньги, завтра стулья. Какая разница?

— Деловые люди держат деньги в западном банке, а не носят с собой. Деньги должны работать.

— А вы откуда знаете?

— От своего сына. Он знает.

— У меня нет счетов в западных банках, — сказал Костя.

— Я могу вам помочь. Вернее, мой сын. Хотите?

— Не знаю. Я подумаю...

— Подумайте. И звоните. Мне кажется, мы будем дружить.

— Мы будем крутые и деловые, — улыбнулся Костя.

— Мы никогда не будем крутые, но голыми руками нас не возьмешь...

Костя снова набрал Катю. Телефон был занят вглухую. Проще доехать и кинуть камнем в окно.

Костя доехал и поднялся на лифте.

Дверь мог открыть Александр, но это не имело значения. Костя только увидит Катю и отметится: вот он я. Вот она — ты. Он не мог уехать на дачу, чтобы не повидаться и не отметиться.

Открыла Надя, собачья нянька. Они держали специального человека для собаки, и это было логично. Хозяев целыми днями не было дома, а собака, молодая овчарка, должна есть, и гулять, и общаться.

Овчарка рвалась с поводка и буквально вытащила Надю за дверь. Они удалились на вечернюю прогулку.

Катя сидела в кресле, положив ноги на журнальный столик. Смотрела в телевизор.

— Где ты был? — спросила она.

— У Миши, — ответил Костя. Он не любил врать и старался делать это как можно реже, в случае крайней необходимости.

— Зачем? — спросила Катя.

Костя хотел все рассказать, но споткнулся о Катино лицо. Она была явно не в духе, ее лицо было злобно целеустремленным. Нацеленным в негатив.

— Так... — неопределенно сказал Костя. — Зашел по делам.

— Какие у тебя с Мишей дела?

— Привезти — увезти, — соврал Костя.

— Ну да... — согласилась Катя. — Какие у тебя еще могут быть дела...

Костя услышал интонации тещи. Неужели все возвращается на круги своя?

— А где Александр? — спросил он.

— В санатории. Здоровье поправляет.

Может быть, Катю злило то обстоятельство, что Александр поправляет здоровье, а она — расходует.

— Под Москвой? — спросил Костя. Его интересовала вероятность его появления.

— В Монтрё, — сказала Катя.

— А это где?

— В Швейцарии.

Без хозяина и без собаки Костя чувствовал себя свободнее. Он прошел на кухню и включил электрический чайник. Стал ждать и, пока ждал — соскучился. Без Кати ему было неинтересно. Он налил себе чай и пошел в комнату, чувствуя себя виноватым непонятно в чем. Видимо, Катя была более сильный зверь и подавляла травоядного Костю.

— Ты чего злая? — спросил Костя.

— Налоговая полиция наехала.

— И что теперь?

— Надо платить. Или закрываться.

— Во всех странах платят налоги, — заметил Костя.

— В цивилизованных странах, — поправила Катя. — А здесь куда пойдут мои деньги? В чей карман?

— Сколько они хотят? — поинтересовался Костя.

— Налоги плюс штраф. Ужас. Бухгалтерша дура. Или сволочь. Одно из двух. Я ей говорила: составь документацию грамотно... Нет. Они все обнаружили.

— Что обнаружили?

— Двойную бухгалтерию, что еще...

— А зачем ты ведешь двойную бухгалтерию?

— Костя! Ты как будто вчера родился. Все так делают. Они обманывают нас, мы — их.

— Сколько ты должна заплатить?

— Какая разница...

— Ну все-таки...

— Шестьдесят тысяч. Ты так спрашиваешь, как будто можешь положить деньги на стол. Ты можешь только спрашивать.

По телевизору шла криминальная хроника. Показали молодого мужчину, лежащего вниз лицом. Диктор сказал, что убитый — житель Азербайджана и его смерть — следствие передела московских рынков.

— Очень хорошо, — отозвалась Катя. — Пусть сами себя перестреляют. Перегрызут друг друга, как крысы.

— У него тоже мама есть, — сказал Костя.

— Ты странный, — отозвалась Катя. — Защищаешь налоговую полицию, сочувствуешь мамочке бандита. А почему бы тебе не посочувствовать мне? Заплатить налоги, например... Отвезти меня на горнолыжный курорт?

— Поезжай в Монтрё, к Александру. Ты ведь этого хочешь? Ты злишься, что Александр уехал, а ты осталась.

Катя помолчала, потом сказала:

— Мне хорошо с тобой в постели. Но жизнь — это не только постель, Костя. Мы бы могли вместе тащить воз этой жизни. Но я тащу, а ты вальсируешь рядом, делаешь па. Я не могу тебя уважать. А любовь без уважения — это просто секс. В таком случае лучше уважение без любви.

— А Александра ты уважаешь?

— Его все уважают.

— Все ясно, — сказал Костя и поставил чашку на подоконник.

— Отнеси на кухню, — велела Катя. — Ухаживай за собой сам.

Костя отнес чашку на кухню. Вытащил из сумки десять пачек и вернулся в комнату. Аккуратно выложил на журнальный столик.

— Что это? — растерялась Катя.

— Здесь налоги, машина и Монтрё.

— Откуда у тебя деньги? — торопливо спросила Катя и сняла ноги со столика.

— Я ограбил банк.

— Ты не можешь ограбить банк. Для этого ты трусливый и неповоротливый.

— Выиграл в карты.

— Ты не можешь выиграть в карты. Для этого нужны особые способности.

— Они у меня были давно, — нашелся Костя.

— Ты их прятал?

— Да. Я хитрый и жадный.

— Это нормально. Я тоже жадная, знаешь почему?

— Знаю, — сказал Костя.

— Ну почему?

— Просто жадная, и все. Тебе всего мало.

— Потому что я трудно зарабатываю. Поэтому.

Костя вышел в прихожую, стал одеваться. Катя вышла следом. Наблюдала молча.

— Ты куда? — спросила она. — К жене?

— Нам надо расстаться на какое-то время. А там решим...

— Странно, — задумчиво проговорила Катя. — Зачем же ты отдал мне деньги, если не собираешься со мной жить...

— Это ты не собираешься со мной жить, — уточнил Костя.

— Тем более, зачем вкладывать деньги в прогоревшее мероприятие?

— Странно, правда? — отозвался Костя. Он был спокоен. Он оказался равным зверем в схватке.

Костя забросил сумку за плечо. Она сильно полегчала, практически ничего не весила.

— Костя! — окликнула Катя.

Он обернулся в дверях.

— Я заплачу старухе за дачу. Ты не против?

— Против.

— Почему?

— Я уже все заплатил.

Катя смотрела на Костю.

Он вышел. Хлопнула дверь. И какое-то время Катя смотрела в закрытую дверь.

Во дворе Костя встретил Надю с овчаркой. Собака смотрела ему вслед, повернув голову, как бы спрашивая: уходишь?

Костя долго шел пешком, потом спустился в метро. Ему хотелось быть на людях.

Вокруг него клубились и застывали на эскалаторах потоки людей, и никому не было до Кости никакого дела. И это очень хорошо. Он — безликая часть целого. Атом.

Катя права. Есть много правд: правда любовной вспышки, когда человек слепнет, и правда прозревшего. Катя прозрела. Значит, не любит больше. Придется жить без Кати. Он, конечно, не кинется под поезд, как Анна Каренина. Он будет жить, хотя что это за жизнь без любви? Тусклая череда дней. Работать без вдохновения, любить скучных женщин... Работать Костя не особенно любил. Он любил вальсировать, но сейчас у него подломан позвоночник. А какие танцы без позвоночника...

Костя вошел в вагон. Люди смотрели перед собой с обреченными лицами. Когда человек заключен в капсулу вагона или самолета, от него ничего не зависит. Он только ждет, отсюда такое остановившееся выражение...

Напротив сидела девушка. В ней было все, кроме основного. Нулевая энергетика. Катя сделала его дальтоником. Теперь он перестанет разбирать цвета. Все будет одинаково серым, бесцветным.

Костя думал обо всем понемногу, как Анна Каренина по дороге на станцию «Обираловка». Он недавно перечитал этот роман и понял, что у Анны Карениной

была элементарная депрессия. Ей все и всё казалось отвратительным. Сегодня ей выписали бы транквилизатор. Она ходила бы вялая какое-то время. А потом бы прошло. Иммунная система бы справилась. Анна вышла бы замуж за Вронского. Он и не отказывался. Просто Вронский не мог любить страстно каждую минуту и каждую минуту это демонстрировать. Любовь — это фон, на котором протекает жизнь. А Анна хотела, чтобы любовь была всем: и фоном, и содержанием.

И Косте хотелось того же самого. В отношениях с Катей он был Анной, а она — Вронским. Анна ревновала Вронского к княжне Сорокиной. А Костя — к Александру. Значит, в Александре было нечто, что привлекало надолго. Золотые мозги. Это тебе не красный шарфик. И не вальсок в обнимку с гитарой. Песни и пляски нужны в праздники. А золотые мозги — всегда.

Ну что ж... Пусть остается с мужем. А он будет жить на свежем воздухе, на пособие азербайджанского перекупщика.

Костя вышел из метро. Залез в маршрутное такси. Такси было совершенно пустым. За рулем сидел парень, похожий на красивую гориллу. Как актер Шварценеггер, что в переводе означает «черный негр», как будто негр может быть белым.

Шофер слушал по приемнику последние известия. Ждал, когда наберутся пассажиры. Ему было невыгодно ехать пустым.

Костя подумал, что теперь ему придется искать работу. Невозможно ведь нигде не работать и ничего не делать, даже при наличии денег. Что он умеет? Жить и

радоваться жизни. Но таких должностей нет, разве только массовик-затейник в санатории. Но радоваться жизни профессионально — это все равно что насильно улыбаться перед фотоаппаратом. Долго застывшая улыбка — это уже оскал.

На руководящие посты Костю не возьмут, да он и не хочет. Он хочет быть свободным и ни от кого не зависеть.

Может быть, есть смысл водить маршрутное такси... Он любил ездить, наматывать дорогу на колеса. За рулем он отдыхает, если, конечно, не по десять часов подряд. Можно купить собственный маленький автобус, взять у государства лицензию — и вперед. Работа непрестижная, но понятие престижа давно изменилось. Престижно быть богатым, как на Западе. А Костя богат, по крайней мере на сегодняшний день. Он может работать когда хочет и сколько хочет.

Костя сел поближе к водителю и спросил:

— Устаешь?

Шофер удивился нетипичности вопроса. Обычно его спрашивали, сколько платить и сколько ехать. Деньги и время.

— Вот я фрукты из Молдавии возил, — отозвался шофер, — по восемнадцать часов за рулем. Я один не ездил. Боялся заснуть. Надо чтобы рядом кто-то сидел и отвлекал. А это что... семечки.

— А если бы у тебя вдруг случайно оказалась куча денег... Что бы ты сделал?

Шофер задумался, но ненадолго.

— Поехал бы путешествовать по всему миру с друзьями... Прогулял бы.

— А если бы остались?

— Поехал бы в Монте-Карло, в казино. Рискнул бы... Потрясающее чувство, когда рулетка крутится, а ты ждешь.

— А ты играл?

— Нет. Но мечтаю.

— А если проиграешь?

— Ничего. Зато будет что вспомнить.

В микроавтобус ввалилась шумная компания молодых людей. Расселись. Все места оказались заняты и даже не хватило. Одна девушка села на колени рослому парню.

«Взяли бы меня с собой, — подумал Костя. — Я бы им попел».

На него никто не обратил внимания.

Машина тронулась. Костя сдвинулся к самому окну, смотрел в стекло и думал, что между находкой денег и потерей Кати есть какая-то связь. Если судьба дает, то она и забирает. Судьба расчетлива. А может, это не расчет, а справедливость. Не должно быть — одним все, другим — ничего.

Костя сошел на своей остановке.

За ним увязалась крупная собака. Ей надоело быть бездомной и бродячей. Собака хотела хозяина. Костя шел безучастный, и было непонятно: согласен он на хозяина или нет.

Прогулял... Проиграл...

Шофер согласен жить одним днем. Предпочитает не заглядывать далеко вперед. Если заглянуть ОЧЕНЬ далеко, то можно увидеть хвост кобылы, везущей за собой чей-то гроб... Где-то Костя это читал.

Теща — наоборот, просчитывает на десять лет вперед. На пятьдесят лет вперед, как будто собирается жить вечно. Как ворона. Но у нее — потомство. В этом дело. Срабатывает закон сохранения потомства.

А Катя — просчитывает все: настоящее и будущее — и позволяет себе зигзаг в сторону. Но ненадолго. В кино это называется «отвлечение от сюжета внутри сюжета». «Меня оправдывают чувства, — вспомнил Костя. — А мозги для чего?»

Собака отстала, как бы махнула рукой. Она была готова к хорошему и плохому в равной степени.

Подходя к дому, Костя увидел, что возле забора кто-то ковыряется.

Влад стоял с лопатой и долбил мерзлую землю. Подрывал столб, чтобы поставить забор на место. Он решил сам выполнить работу и взять себе деньги.

Костя остановился. Ему было совершенно безразлично, как будет стоять забор. Он спросил:

— У тебя выпить есть?

— Пошли, — коротко отреагировал Влад.

В доме у Влада было тепло. Вот главное, подумал Костя, тепло. Физическое и душевное.

Разделись, прошли на кухню.

Влад поставил на пол пластмассовую канистру и стал переливать коньяк в трехлитровую банку.

— А его можно пить? — усомнился Костя.

— Я сам не пью, но работяги хвалят. Пока все живы, никто не отравился.

Влад достал из холодильника картошку в мундире и квашеную капусту.

— Кто это коньяк капустой закусывает? — осудил Костя.

— В капусте витамины. Я всю зиму капусту ем.

Влад ловко почистил картошку, полил капусту подсолнечным маслом. Запахло подсолнухом.

Влад налил Косте в стакан, как работяге.

— А жена где? — поинтересовался Костя.

— В санатории.

— Болеет?

— Почему болеет? Здоровая как лошадь.

— А в санаторий зачем?

— Для профилактики. Чтобы не заболела. За женой тоже надо следить, как за лошадью. Даже больше.

— А ты лошадей любишь? — догадался Костя.

— Я все детство в Туркмении провел. У бабки жил. Меня бабка любила. Хорошее было время.

— Да, — согласился Костя. — Меня тоже бабушка любила.

— Давай выпьем. — Влад налил и себе.

— Ты же не пьешь...

— А что со мной случится?

Костя выпил. В груди разлился целебный жар.

— А твоя бабка была туркменка? — спросил Костя.

— Почему туркменка? Русская. Просто там жила. Во время войны эвакуировались и остались.

Влад достал из холодильника копченое сало.

— Хохлы любят сало, а евреи не едят. И мусульмане не едят, — заметил Костя. — Свинья грязная.

— Свинья умная, — поправил Влад. — И евреи умные. Евреи правильно относятся к женам. Делают что хотят, а о женах заботятся.

— У каждой нации свои приоритеты, — сказал Костя. — Айсоры — лучшие чистильщики ботинок.

— Айсоры — это кто? — не понял Влад.

— Ассирийцы. Помнишь, был такой ассирийский царь?

— Вот за него и выпьем!

Костя выпил полстакана. Он хотел растворить в коньячном спирте свою тоску по Кате и смутный страх, связанный с Азнавуром. Любовь и Смерть — два конца одной палки. А Костя — посредине.

— Если бы у тебя были деньги, что бы ты с ними сделал? — спросил Костя.

— Я бы отдал долги, — мрачно ответил Влад.

— А остальные?

— И остальные отдал.

— У тебя большие долги?

— Я взял под процент. Думал, быстро раскручусь. И не раскрутился. А они включили счетчик. Теперь каждый день накручивается...

— И что делать?

— Откуда я знаю...

— А ты с ними поговори. Объясни.

— Наивный ты человек... Я каждый день живу за свой счет.

— Это как?

— Каждый день — подарок. Ну ладно... — Влад тряхнул головой. — А твоя баба где?

— А что? — насторожился Костя.

— Да ничего... Я видел однажды, как она расчесывает волосы на крыльце...

«Может, дать ему в долг? — подумал Костя. — Влад, конечно, возьмет. И кинет. Не потому, что бандит. А потому, что не сможет вернуть. Это ясно».

— Когда она приезжает, я смотрю в ваше окно. Там свет горит, тени двигаются... — мечтательно проговорил Влад.

Костя выпил еще и прислушался к себе. Бочковой коньяк не только не растворил образ Кати, а, наоборот, сделал его отчетливым. Стереоскопичным. Он увидел Катю — босую на снегу. Она стояла на крыльце и расчесывала волосы.

«Я схожу с ума», — подумал Костя.

Катя стояла перед дачей босая. Она исповедовала учение Порфирия Иванова, обливалась водой и ходила босиком по земле в любую погоду.

Костя не понял, как он оказался перед старухиной дачей. Видимо, он ушел от Влада. А Влад где? Должно быть, остался в своем доме.

— Проходи, — велела Катя.

Костя вошел в дом и включил свет.

— Не надо... — Катя повернула выключатель. — Так лучше...

В окно проникал свет от луны. Катя стояла босая, как колдунья, лесная девушка.

— Ты правда здесь? — проверил Костя.

— Правда.

— А зачем ты приехала?

— К тебе.

— Из-за денег?

— Да...

Косте было все равно, из-за чего она приехала. Если пароход тонет, а человек спасается, то какая разница — что его спасло. Главное — жив.

— Я позвонила Валерке, сказала: приезжай, харчи есть. Он деньги «харчами» называет.

— А Валерка кто?

— Исполнительный директор. Приехал, скинул деньги в целлофановый пакет, как мандарины. Я вдруг так испугалась... Я поняла, что деньги для меня ничего не значат. Вернее, значат гораздо меньше, чем я думала. Любовь главнее бизнеса, главнее любой деятельности вообще. Я так испугалась... Я сказала Валерке: отвези меня на дачу. Он отвез.

— А твоя машина где?

— Она сломалась. Старая. Ей уже пять лет.

— Завтра я куплю тебе новую. Какую ты хочешь...

— Откуда у тебя деньги?

— Потом расскажу.

— Ты дрожишь, — заметила Катя. — Пойдем...

Они вошли в спальню. Костя стоял стеклянный от коньяка. Катя стала раздевать его, снимала по очереди одежду и бросала тут же, на пол.

— Знаешь, в чем разница между твоими деньгами и моими? — спросил Костя. — Мои деньги не работают. Я их никогда не повторю. Это разовый эффект, как фейерверк.

— Какой ты милый, когда пьяный...

Они легли в кровать. Катины ноги были холодными. Костя стал их греть своими ногами.

— У тебя еще остались деньги? — спросила Катя.

— Двести пятьдесят тысяч, — отчитался Костя. — Я хочу достроить дом и купить машины.

— Никакого дома, — категорически запретила Катя. — Вложишь в издательство. Мы будем издавать иллюстрированные журналы. Современная живопись. И художественная фотография. Если бы ты знал, какие сейчас мастера фотографии... Просто документальная живопись. Их надо продвигать и раскручивать.

— А кому это нужнее — им или нам?

— Ты уже говоришь как бизнесмен. Молодец. Если хочешь, мы внесем твое имя в название издательства...

Костя тихо и медленно ее целовал.

— Твоя фамилия Чернов, моя — Тимохина. Вместе получается «Черти». Хочешь «Черти»? Очень мило...

— Никаких чертей. Пусть будет «Стрелец».

Катя промолчала. Она заводилась от его ласк, ей не хватало дыхания. Она билась в его руках, как большая рыба. Он был благодарен ей за то, что она так сильно чувствует.

— Трещит... — вдруг проговорила Катя, открыв глаза.

Костя не мог остановиться. В такие моменты остановиться невозможно. Но Катя выскользнула из его рук, подошла к окну. Косте ничего не оставалось, как подойти и встать рядом.

Дом Влада стоял темный в темноте, оттуда доносился редкий треск, как будто стреляли. И вдруг, прямо на глазах, — дом вспыхнул весь и огонь устремился в небо. Ветра не было. Через десять примерно минут дом рухнул, превратившись в светящийся муравейник.

— Обошлось, — выдохнула Катя. Она боялась, что пожар перекинется на их дом. Но обошлось.

— А соседа тебе не жалко? — спросил Костя.

— Он бы нас не пожалел, — ответила Катя и вернулась в кровать. — Иди сюда... — позвала она.

Костя лег рядом. Катя ждала продолжения, но Костя не хотел уже ничего. Он чувствовал себя парализованным, как тогда, при первом их посещении. Но тогда он просто испугался. А сейчас было другое. Случилось то, чего нельзя поправить.

Все имеет свой золотой запас. Деньги оплачиваются трудом. Большие деньги — большим трудом. На это уходит жизнь. Костя получил быстро и даром и подложил чужую жизнь. Он рассчитался Владом, который, по сути, Вовка-морковка, спереди веревка...

Катя тянулась к нему с ласками. Косте казалось, что между ними лежит мертвый Влад, и так будет каждую ночь. И вальсировать теперь тоже придется в обнимку с обгорелым трупом...

Костя торопливо спустился на первый этаж, вытащил из кармана молитвенник. Осветил фонариком.

— «Отче наш... — прочитал Костя. — Иже еси на небесех».

— Как торжественно... На небесех...

В окно постучали.

«За мной», — понял Костя. Накинул дубленку на голое тело, вышел босиком. Холод обжег ноги, но все познается в сравнении. Страх обжигает сильнее.

Светила полная луна. Под луной стоял Влад в спортивном костюме.

Костя онемел. Он почему-то соединил молитву и Влада. Он помолился, и вот — Влад.

— Видал? — спросил Влад, кивая на светящийся муравейник.

— А кто это? — спросил Костя. Хотел добавить — твои или мои? Но сдержался.

— Не буду я тут больше жить, — мрачно сказал Влад. — Купи у меня землю. Я по дешевке отдам.

Костя сунул руку в карман дубленки и достал начатую пачку.

— Сколько тут? — спросил Влад.

— Восемь.

— Ладно. На первое время хватит. Тридцать за тобой... Отдашь, когда будут. — Влад перетряхнул плечами. — У меня там все сгорело. Я деньги под полом держал. Никогда не держи деньги под полом.

— Хорошо, — сказал Костя. В этот момент он почти любил Влада, но скрывал свои чувства. Влад снял с него тяжесть, равную колесу от вагона: колесо на груди

не расплющит, но и дышать не даст. Влад снял колесо. Чистый воздух хлестал в грудь.

— Дай мне твой тулуп, до города доехать, — попросил Влад.

Костя снял с себя дубленку, но холода не почувствовал.

— А как ты уцелел? — спросил Костя.

— Что я, дурак? У меня веревочная лестница была. Тоже сгорела. С-суки...

Влад плюнул и пошел своей вьющейся походкой, как будто хотел по малой нужде.

Костя стоял голый, как Адам в первый день творения. Он поднял лицо к небу и проговорил:

— Господи, Отче наш, иже еси на небесех...

На небесах Бога нет. А на небесех — есть.

II

Прошел год.

Издательство «Стрелец» набирало обороты. Катя сказала: «Никто не будет обслуживать твои деньги. Крутись сам». И Костя крутился, но это был уже другой вальс.

Жили врозь, как и раньше. Катя говорила, что это сохраняет и усиливает любовь. Но Костя понимал, что Катя не хочет менять основной сюжет.

Его часто мучил один и тот же сон: как будто он убегает, а за ним гонятся. Сердце обмирало от апокалипсического ужаса. Костя просыпался от сердцебиения. Об-

наружив себя в собственной постели, радовался спасению. Понимал: это подсознание выдавливает страх.

Креститься Костя так и не собрался. Жил без ангела-хранителя. И очень зря. Однажды в полночь, когда Костя просматривал ночные новости, раздался стук в дверь. Стук был осторожный, но какой-то подлый, вкрадчивый.

Костя открыл дверь. Перед ним стоял незнакомый тип в норковой шапке и спортивной куртке.

— Узнаешь? — поинтересовался он.

Костя вгляделся и вдруг узнал: это был тот самый парень, который летел, как снаряд, вбросил рюкзак и просвистел мимо. Было невозможно себе представить, что он смог увидеть, а тем более запомнить Костю на такой скорости.

— Привет, — спокойно сказал Костя. Он не испугался. Более того, он обрадовался, что все наконец кончилось. Он устал бояться.

— Деньги, — коротко сказал Снаряд.

— Денег нет, — так же коротко ответил Костя. — Ты бы еще через десять лет пришел...

Они молча, изучающе смотрели друг на друга. Косте захотелось спросить: как ты меня нашел? Но это был бы праздный вопрос. Какая разница — как? Нашел, и все.

— Даю три дня. Чтобы деньги были, — сообщил Снаряд.

— А иначе ты меня убьешь? — спросил Костя.

— Какая польза от трупа... Если не заплатишь, отработаешь.

— Как?

— Это мы тебе скажем.

Снаряд повернулся и пошел. Костя увидел, как он перемахнул через забор. И стало тихо.

Он сказал «мы». Значит, входит в криминальное сообщество. Придется противостоять целому сообществу, что совершенно бессмысленно.

Косте хотелось бы проснуться, но это была явь. Он стоял и ничего не чувствовал, как после удара. Он знал, что боль наступит позже.

Рано утром Костя звонил в дверь жены. За его спиной висела пустая спортивная сумка.

Открыла теща. Ее круглые голубые глаза стали еще круглее. У тещи и жены были одинаковые глаза, и эти же глаза перекочевали на лицо сына и делали его похожим на пастушка.

Костя понимал, что предает эти общие глаза, и не мог выговорить ни одного слова. Только пошевелил губами. От бессонной ночи у него горел затылок, слегка подташнивало.

— Заходи, — велела теща.

Костя прошел в комнату и сел не раздеваясь.

— Щас, — сказала теща и скрылась.

Она появилась с целлофановым пакетом, на котором было написано «Мальборо». Положила пакет на стол и стала вытаскивать из него старые шерстяные носки. Пыль от носок бешено клубилась в солнечном луче.

В какой-то момент теща перестала вытаскивать и подвинула пакет Косте.

— Здесь триста тысяч, — сказала она. — Двадцать мы потратили.

Костя смотрел на тещу. Она все понимала без слов.

— Никогда хорошо не жили, нечего и начинать, — философски заключила теща.

Костя опустил голову. Никогда он не чувствовал себя таким раздавленным. Если бы теща упрекала, уязвляла, скандалила, ему было бы легче.

Из ванной комнаты вышла жена. На ее голове был тюрбан из полотенца. Жена тут же поняла, ее глаза испуганно вздрогнули.

— Приходили? — торопливо спросила жена.

Костя кивнул.

— Хорошо, что Вадика не украли.

— А где Вадик? — испугался Костя.

— Спит, где же еще... Отдай эти деньги. Ну их к черту... Сын важнее денег.

— И отец важнее денег, — добавила теща.

— Какой отец? — не понял Костя.

— Ты... Какой еще отец у Вадика? Лучше бедный, но живой, чем богатый и мертвый.

— Перестаньте! — Жена подошла и обняла Костю.

Костя заплакал. Ему казалось, что со слезами из него выходит вся горечь.

На улице пахло весной и снегом. Утренний воздух был чистым даже в городе. Косте казалось, что все люди в домах и вокруг — тоже чистые, уставшие дети. А теща — уставшая девочка, которая много плакала. Все

ее недостатки — это реакция на жизнь и приспособления, чтобы выжить. Как веревочная лестница при горящем доме. По ней и лезть неудобно, а приходится.

Людские недостатки — как пена на пиве. А сдуешь — и откроется настоящая утоляющая влага, светящаяся, как янтарь.

Миша Ушаков оказался на работе. Открыла его жена Сильва, с ведром и тряпкой.

— Хорошая примета — полное ведро, — отметил Костя.

— Это если из колодца, — уточнила Сильва.

Народная примета подразумевала чистую колодезную воду, а не ту, что в ведре — с хлоркой и стиральным порошком.

— Миша велел тебя найти, — сообщила Сильва. — А откуда я знаю, где тебя искать. Жена сказала, что тебя нет и не будет. Я Мише говорю: сам объявится...

— А зачем он меня искал?

— Он тебе деньги оставил.

— А ему что, не понадобились? — бесстрастно спросил Костя, хотя в нем все вздрогнуло от радости. Не надо просить, объяснять, унижаться. Нет ничего тошнотворнее, чем клянчить. Даже свое.

— Харитонов открыл финансирование, — объяснила Сильва.

— Что это с ним?

— Смена правительства, смена курса, — объяснила Сильва. — Зайдешь?

— Спасибо, я спешу.

Сильва принесла деньги, завернутые в газету.

— Харитонов сам позвонил, — добавила она. — Представляешь?

— Не очень.

— Хочется верить, что все изменится. Мы так устали от пренебрежения...

Сильва любила отслеживать униженных и оскорбленных, к коим относила и себя. Ее унижение происходило не на государственном уровне, а на сугубо личном. Она была на пятнадцать лет старше Миши и тем самым без вины виновата. Они поженились, когда Мише было двадцать пять лет, а ей сорок. Тогда это выглядело неплохо. Оба красивые, оба в цвету. Сейчас Мише сорок, а Сильве пятьдесят пять. Разница вылезла. Сильва замечала легкое пренебрежение Мишиных ровесников. Она чувствовала себя как собака, которая забежала на чужой двор. Все время ждала, что ее прогонят палками. Полностью зависела от Мишиного благородства. Сильва отрабатывала свою разницу, но сколько бы ни бегала с ведром и тряпкой, она не могла смыть этих пятнадцати лет.

Костя смотрел на ее фигуру, оплывшую, как мыльница, и думал: а зачем ей это надо? Бросила бы Мишу, вышла за ровесника и старела бы себе в удовольствие. Не напрягалась бы... Разве не лучше остаться одной, чем жить так? Наверное, не лучше. Но и такая жизнь — все равно что ходить в туфлях на два размера меньше. Каждый шаг — мучение.

— Как мама? — спросил Костя, в основном из вежливости.

— Хорошо. Смотрит телевизор. Ест семгу. Читает... — Сильва помолчала, потом добавила: — Мне иногда хочется выброситься из окна...

Косте не хотелось говорить пустых, дежурных слов. Но надо было что-то сказать.

— Ты хорошо выглядишь, — соврал Костя. — Почти совсем не изменилась.

— Да? — Сильва удивилась, но поверила. Ее лицо просветлело. Сильве на самом деле не хватало сочувствия. Она устала от пренебрежения, как вся страна.

— Мне бы скинуть десять лет и десять килограммов, — помечтала Сильва.

«Тогда почему не двадцать?» — подумал Костя, но вслух не озвучил. В его сумке лежала половина долга. Еще треть он возьмет у Кати. И можно спокойно ждать, когда появится Снаряд. Интересно, а с него можно сдуть пену? Или он весь — одна сплошная пена, до самого дна...

Костя подъехал к издательству «Стрелец».

В издательстве шел ремонт, однако работа не прекращалась. Все сотрудники сгрудились в одной комнате, друг у друга на голове. Секретарша Анечка натренированным голоском отвечала по телефону. Редакторша Зоя отвергала чьи-то фотографии с наслаждением садиста. Костя подумал: если она потеряет работу в издательстве, то может устроиться ресторанным вышибалой. Ей нравится вышибать.

Исполнительный директор говорил по телефону. За одну минуту текста он произнес тридцать пять раз «как бы» — слово-паразит интеллигенции девяностых годов.

В помещении воняло краской. У рабочих были спокойные, сосредоточенные лица в отличие от работников умственного труда. У рабочих не было компьютерной речи, они выражались просто и ясно. И когда употребляли безликий мат, было совершенно ясно, что они хотят сказать. Костя заметил, что в мате — очень сильная энергетика, поэтому им так широко пользуются. Как водкой. В водке тоже сильная энергетика.

У рабочих было точное представление: что надо сделать, к какому числу, сколько получить. Что, Когда и Сколько. И этой определенностью они выгодно отличались от интеллигенции, плавающей в сомнениях.

Катя сидела за столом возле окна и беседовала с двумя оптовиками. Один из них был бородатый, другой косой.

Оптовики скупают весь тираж, как азербайджанские перекупщики скупают овощи. А потом везут по городам и весям. У них это называется: по регионам. В ходу такие термины: крышка, наполнитель, как будто речь идет о маринованных огурцах. А оказывается, крышка — это обложка, а наполнитель — то, что в книге. Рембрандт, например.

Рядом с оптовиками стояли люди из типографии. Типография «Стрельца» располагалась в Туле.

Катя сидела, сложив руки на столе, как школьница-отличница. Она знала: сколько и почем, поэтому ее нельзя было надуть. Эта уверенность висела в воздухе. Здоровые мужчины ей подчинялись. И подчинение тоже висело в воздухе.

Костя не мог вникнуть в работу, поскольку его мозги были направлены в прямо противоположную сторону. Он нервничал.

Катя подошла к нему, спросила:

— Ты чего?

В том, что она не подозвала его к столу, а подошла сама, проглядывалось отдельное отношение.

— Мне нужны деньги, — тихо сказал Костя. — Четыреста тысяч. За ними придут завтра.

— Четыреста тысяч чего? — не поняла Катя.

— Долларов. Моя доля меньше. Но ты дай мне в долг.

— Это невероятно, — так же тихо сказала Катя. — Все деньги в деле.

— Но они меня убьют. Или заставят убивать.

— Деньги в деле, — повторила Катя. — И если вытащить их из дела, надо закрываться.

— Или дело, или я, — сказал Костя.

— Даже если я сегодня закроюсь, деньги придут через полгода. Ты странный...

Катя с раздражением смотрела на Костю. Издательство — это ее детище, духовный ребенок. А Костя — это ее мужчина. Ребенок главнее мужчины. Мужчину можно поменять, в крайнем случае. А издательство, если его приостановить, — его тут же обойдут, сомнут, затопчут. Упасть легко, а вот подняться... Костя требовал невозможного.

— У тебя что, больше негде взять? — спросила Катя.

— Вас к телефону! — крикнула Анечка.

Катя с облегчением отошла. Взяла трубку. Голос ее был тихим. Когда Катя расстраивалась, у нее голос садился на связки.

Косой оптовик смотрел на Катю, чуть отвернув голову, — так, чтобы было удобно обоим глазам.

Катя отвернулась к окну, чтобы не видеть Костю, а заодно косого оптовика. Для нее они были равновелики. Тот и другой хотели денег, и вообще все мужчины мира хотели одного: денег, денег и опять денег, как будто в мире больше ничего не существует. И как будто их неоткуда выгрести, кроме как из Кати. Бухгалтерша Вера что-то тыркала в компьютере. Нужен был сильный бухгалтер — мужик. Но мужики больше воруют. И все в конечном счете снова упирается в деньги...

Костя смотрел в Катину спину. От спины шла радиация ненависти. Костя поднялся и вышел. Ему было жаль Катю. Ей была нужна поддержка, а какая из Кости поддержка...

О том, что она отдала его под пулю, Костя не думал. Ну отдала и отдала...

У каждого человека свои приоритеты. У жены — сын Вадик. У Сильвы — муж Миша. У Кати — издательство «Стрелец». А у Кости — собственная жизнь, никому не нужная, кроме него самого.

Костя взял такси и поехал на дачу.

Лес вдоль дороги был местами вырублен, торчали отдельные дома и целые поселки. Люди строились, как грачи. Вили гнезда. При советской власти это запрещалось. Живи где скажем и как разрешим. После падения социализма из человека вырвался основополагающий ин-

стинкт, как песня из жаворонка. И эти дома — как застывшие трели.

Все дома напоминали партийные санатории из красного кирпича. Мечта коммуниста. Представление «совка» о прекрасном.

Костя поставил бы себе деревянный сруб из вековых архангельских сосен. Внутри он не стал бы обшивать вагонкой, а так и оставил бы полукруглые бока бревен, с паклей между ними. Это был бы натуральный дом, как у старообрядцев. Со ставнями.

Хотя какие ставни, какая пакля... Ему придется все срочно продавать, включая свою душу. Завтра явится Мефистофель в норковой шапке, и — здравствуй, нищета...

Вечером постучали.

«Он же завтра собирался», — подумал Костя и пошел отпирать. Открыл дверь без страха. Зачем Снаряду убивать его, не взяв деньги? Какая польза от трупа?

В дверях стоял Александр и держал в руках голубой пакет, на котором было написано: «Седьмой континент».

«Выпить, что ли, приехал...» — не понял Костя.

— Проходите, — пригласил Костя.

— Я ненадолго, — предупредил Александр, шагнув через порог. Снял шапку. Лысина была смуглой, Александр успел где-то загореть. Может быть, в Монтрё.

— Вот. — Александр протянул пакет. — Здесь ваша доля в издательстве. И сто тысяч, которые вы одолжили моей жене. Можете пересчитать.

Костя не принял пакета. Александр положил его на подоконник.

— Больше мы вам ничего не должны. И вы нам тоже ничего не должны. Ясно?

— В общих чертах, — сказал Костя. При этом он успел понять: Александр вовсе не какашка, и тем более не сладкая. И сегодняшнее время — это его время.

— Надеюсь, мы поняли друг друга... Честь имею.

Александр повернулся и пошел.

Костя стоял на месте как истукан. Ноги завязли, как во сне, когда хочешь бежать, но не можешь. Но это был не сон. Костя очнулся от оцепенения и рванул вперед. Догнал Александра возле калитки. Он хотел спросить: Александр сам приехал или его послала Катя. Чья это идея?

За забором стояла машина. В ней сидела Катя. Увидев Костю, она опустила стекло.

— Привет, — сказал Костя растерянно.

— Привет, — отозвалась Катя и включила зажигание.

Александр сел в машину и крепко хлопнул дверью. Этот хлопок прозвучал как выстрел.

Машина фыркнула и ушла. Вот и все.

Костя вышел на дорогу. Снегу навалило столько, что еловые ветки гнулись под тяжестью. Красота — как в берендеевом лесу. Серьга месяца, промытые хрустальные звезды. Природа по-пушкински равнодушна, и вообще равнодушна к человеческим страстям. Вот и все. Красота и пустота.

Прошла кошка с черным пятном на носу. В конце улицы стояла затрапезная машина.

Костя вернулся в дом и ссыпал все деньги на стол: из пакета «Мальборо» и из пакета «Седьмой континент». Все пачки были одинаково перетянуты желтыми и розовыми резинками. Бандиты и бизнесмены одинаково пакуют деньги. Значит, бизнесмены — тоже немножечко бандиты. И наоборот. Бандиты — тоже в какой-то мере бизнесмены.

Значит, миром правят ловкие, оборотистые, рисковые. А такие, как Костя — нормальные обыватели, не хватающие звезд с неба, не выходящие из ряда вон, — должны довольствоваться тем, что остается от пирога. А от пирога ничего не остается. Даже крошек.

А Костя, между прочим, тоже нужен для чего-то. Иначе его не было бы в природе. Что же получается? Костя — лишний человек. Как Онегин в свое время. Но у Онегина было состояние. Он его проедал и мучился дурью. Бездельник, в сущности. Стрелец. Итак, Костя — лишний человек постсоциализма на рубеже веков.

Деньги валялись на столе. Говорят, деньги не пахнут. А они пахли чем-то лежалым. Тошнотворный запах. Костя открыл окно. Сел за стол и задумался, бессмысленно глядя на раскиданные пачки. Завтра он их отдаст. И с чем останется? Кати — нет. Любви — нет. Работы — нет. И себя — тоже нет.

Что же есть? Долг в размере ста семидесяти тысяч. Дачу придется продать. Этого не хватит. Снаряд включит счетчик — десять процентов каждый месяц. Вот

тогда Костя покрутится, как собака за собственным хвостом.

Но с какой стати? Эта мысль ударила как молния и все осветила. А почему надо отдавать дачу и деньги? А потом еще крутиться в бесючке страха. Разве не проще оставить все себе, перевести деньги под Сан-Франциско, как это сделала незнакомая красавица Смородa? К Александру он обращаться не будет... хотя почему бы и не обратиться. Александр будет только счастлив отправить Костю за океан...

Перевести деньги на счет старухиного сына. Потом самому уехать к деньгам. Взять в аренду дом — там принято жить в аренду, — вызвать жену, сына и тещу. Никогда хорошо не жили, почему бы и не начать... В их распоряжении весь глобус. Не понравится в Америке, можно переехать в Европу. Или на Кубу, например. Там круглый год лето. Можно танцевать вальс по всей планете.

Костя крепко запер дачу на все замки. Неизвестно, когда он в нее вернется. Но вернется обязательно.

За два года дача столько видела и слышала... Она слышала любовные стоны, треск березовых чурок в камине, бормотание телевизора, дыхание во сне, шуршание воды, да мало ли чего... Она видела отсветы пожара, Катю — босую на снегу и даже молодого бандита в норковой шапке. Хотя вряд ли она его запомнила...

Через три часа Костя вышел от старухи. В кармане лежали реквизиты, написанные по-английски. Все очень

просто: адрес банка, код и номер счета. И фамилия Петров, напи ная по-английски, на конце две буквы «ф». Петрофф.

Костя остановил такси. Шофер медленно тронулся: движение было перегруженным.

Костя хотел было задать свой вопрос про деньги, но передумал. Зачем? Он и так знал, что с ними делать.

Вдруг Костя обратил внимание на белую «Ниву», которая медленно шла за ними. Машина была грязная, затрапезная, где-то он ее видел... Но мало ли белых «Нив»... Они сейчас подешевели, население охотно их покупает. Однако внутри Кости все напряглось и натянулось.

Такси свернуло на Бережковскую набережную. Здесь все началось и кончится тоже здесь.

Белая «Нива» обошла его справа. В ней сидели двое: Снаряд и еще один. Значит, они его пасли. Они предусмотрели то обстоятельство, что Костя захочет удрать с деньгами.

Костя не испытал никакой паники. Неожиданная ясность опустилась на его голову.

«Бежать, — сказала ясность. — Уносить ноги».

Костя выскочил из машины и побежал. Всю имеющуюся в нем энергию он сосредоточил на движении и развил такую скорость, будто им выстрелили. Случайные прохожие шарахались в сторону, боясь столкнуться с массой, помноженной на ускорение.

Что-то мешало движению... Сумка на боку. На такой скорости тело должно быть обтекаемым, как ракета,

которая идет через плотные слои атмосферы. А сумка тормозила, гасила скорость.

Надо ее скинуть, но по-умному. Не выкинуть, а скинуть.

Впереди темнела раскрытая машина. Согбенный мужик качал колесо. Костя метнул сумку в машину и пролетел мимо. Мужик ничего не понял и не отвлекся. Продолжал качать колесо. Мало ли кто бегает по молодости лет...

Это не было похоже на сон. Во сне Костю охватывал ужас, когда все цепенеет и залипает. А здесь — включилась четкая программа самосохранения. Она гнала вперед и отдавала мозгу приказы: вперед, вправо, снова вперед, прячься... Костя увидел перед собой темное парадное. Заскочил в него, взбежал на второй этаж. На втором этаже он влез на подоконник и прыгнул вниз. Суставы спружинили. Он оказался на параллельной улице.

Время было выиграно. Снаряд и еще один стояли, должно быть, во дворе и растерянно крутили головами. Куда подевался?

Костя влился в толпу пешеходов. Толпа приняла его, растворила.

Костя шел — уникальный и неповторимый среди таких же уникальных и неповторимых. Свой среди своих. Он испытывал легкость в теле, как космонавт после перегрузок. Он был одновременно — и корабль, и космонавт.

А под ним Земля кружилась вокруг своей оси, медленно и ритмично, совершала свой вечный вальс. Очень

может быть, что Большой взрыв случился в декабре. И земля тоже родилась под созвездием Стрельца.

Навстречу свободной походкой шел Азнавур. «Спокойно», — приказал себе Костя, не изменил ни лица, ни маршрута. Шел как шел. Когда поравнялись, услышал французскую речь. Это на самом деле был Азнавур. В России шли его гастроли.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

— Ой, только не вздумайте наряжаться, вставать на каблуки, — брезгливо предупреждала толстая тетка, инструктор райкома. — Никто там на вас не смотрит, никому вы не нужны.

Группа художников с некоторой робостью взирала на тетку.

ТАМ — это в Италии. Художники отправлялись в туристическую поездку по Италии. Райком в лице своего инструктора давал им советы, хотя логичнее было бы дать валюту.

Шел 1977 год, расцвет застоя. Путевка в Италию стоила семьсот рублей, по тем временам это были большие деньги. Восемь дней. Пять городов: Милан, Рим, Венеция, Флоренция, Генуя.

— Возьмите с собой удобные спортивные туфли. Вам придется много ходить. Если нет спортивных туфель, просто тапки. Домашние тапки. Вы меня поняли?

Лева Каминский, еврей и двоеженец, угодливо кивнул. Дескать, понял. Видимо, он привык быть виноватым

перед обеими женами, и это состояние постоянной вины закрепилось как черта характера.

Романова тоже кивнула, потому что тетка в это время смотрела на нее. Смотрела с неодобрением. Романова была довольно молодая и душилась французскими духами. Душилась крепко, чтобы все слышали и слетались, как пчелы на цветок. Романова была замужем и имела пятнадцатилетнюю дочь. Но все равно душилась и смотрела в перспективу. А вдруг кто-то подлетит — более стоящий, чем муж. И тогда можно начать все сначала. Сбросить старую любовь, как старое платье, — и все сначала.

Фамилия Романова досталась ей от отца, а отцу от деда и так далее в глубину веков. Это была их родовая фамилия, не имеющая никакого отношения к царской династии. Прадед Степан Романов был каретных дел мастер. Все-таки карета — принадлежность высокой знати, поэтому, когда Романову спрашивали, не родственница ли она последнему царю, — делала неопределенное лицо. Не отрицала и не подтверждала. Все может быть, все может быть... И новая любовь, и благородные корни, и путешествие в Италию.

— Вообще Италия — это что-нибудь особенное, — сказала инструктор. — Там невозможно прорыть метро. Копнешь — и сразу культурный слой.

— Там нет метро? — удивился искусствовед Богданов. — Если я не ошибаюсь, в Италии есть метро.

Богданов был энциклопедически образован, знал все на свете. Впоследствии выяснилось, что он знал больше,

чем итальянские экскурсоводы, и всякий раз норовил это обнаружить: перебивал и рассказывал, как было на самом деле. В конце концов советские туристы поняли, что им подсовывали дешевых экскурсоводов, по сути, невежд и авантюристов. И гостиницы предоставляли самые дешевые. И купить на обменянные деньги они могли пару джинсов и пару бутылок минералки.

Но это позднее. Это не сейчас. Сейчас все сидели и слушали тетку, которая желала добра и советовала дельные вещи, но при этом разговаривала как барыня с кухаркой, которую она заподозрила в воровстве. В ее интонациях сквозили презрение и брезгливость.

Романова выразительно посмотрела на человека, сидящего напротив, как бы показывая глазами, что она не приемлет этот тон, но не хочет спорить.

Сидящий напротив, в свою очередь, посмотрел на Романову, как бы встретил ее взгляд, и Романова забыла про тетку. Ее поразил сидящий напротив. У него был дефицит веса килограммов в двадцать. Он не просто худ, а истощен, как после болезни. Волосы — цвета песка, темнее, чем пшеничные. Блондин на переходе в шатена. Песок после дождя.

Романова не любила черный цвет и как художник редко им пользовалась. Черный цвет — это отсутствие цвета. Ночь. Смерть. А песок имеет множество разнообразных оттенков: от охры до почти белого. И его волосы именно так и переливались. Глаза — синие, странные. Круглые, как блюдца. Именно такие глаза Романова рисовала своим персонажам, когда оформляла детские

книжки. У нее мальчики, девочки и олени были с такими вот преувеличенно круглыми глазами.

Небольшая легкая борода, чуть светлее, чем волосы. Песок под солнцем.

«Как герой Достоевского, — подумала Романова. — Раскольников, который сначала убьет, а потом мучается. Всегда при деле. А так, чтобы жить спокойно, не убивая и не мучаясь, — это не для него».

Тетка тем временем заканчивала свое напутствие. Она сообщила вполне миролюбиво, что жить туристы будут по двое в каждой комнате: женщина с женщиной, а мужчина с мужчиной. И выбрать напарника можно по своему усмотрению.

— Это мы вам не навязываем, — благородно заключила инструктор райкома.

— Спасибо, — угодливо сказал двоеженец.

Богданов скептически хмыкнул. Тетка настороженно посмотрела на Богданова.

Романова огляделась. С кем бы она хотела поселиться? Женщины в большинстве своем были ей незнакомы, в основном — сотрудницы музеев. Одна — яркая блондинка — жена Большого Плохого художника. И карикатуристка Надя Костина, про нее все говорили, что она — лесбиянка. В Москве семидесятых годов это была большая редкость и даже экзотика. Романова предпочитала никак не относиться к этой версии. Каждый совокупляется как хочет. Почему остальные должны это комментировать? При этом Костина была выдающаяся карикатуристка, у нее был редкий специфический дар.

Может быть, одно с другим как-то таинственно связано и называется «патология одаренности». Если, конечно, лесбиянство считать патологией, а не нормой.

Но может быть, все эти разговоры — сплетня. Сплетни заменяют людям творчество, когда у них нет настоящего. Когда их жизнь пуста. В пустой жизни и драка — событие. На пустом лице и царапина — украшение. Обыватели не любят выдающихся над ними и стремятся принизить, пригнуть до своего уровня. Так что вполне могло быть, что Надя Костина — жертва человеческой зависти.

Все поднялись со стульев. Костина подошла к Романовой и элегантно спросила:

— Тебе не мешает сигаретный дым?

— Нет, — растерянно сказала Романова.

— Тогда поселимся вместе. Не возражаешь?

Отвечать надо было быстро. Романова испугалась, что Надя заметит ее замешательство, и торопливо проговорила:

— Конечно, конечно...

— Какие духи... — Надя элегантно повела в воздухе сигаретой.

Ее слова и жесты были изысканны, но лицом и одеждой она походила на спившегося молодого бродягу. Кое-какие брюки, висящие мешком, пиджак она надевала на мужскую майку. Кепка. Сигарета. Если на нее не глядеть, а только слушать и смотреть ее работы...

Но придется глядеть и даже спать в одном помещении.

После собрания Романова поехала домой на такси продолжая слушать в себе некоторое замешательство. Она уже ругала себя за то, что сразу не сказала: нет. Отказывать надо сразу и резко. Тогда не будет никаких обид. Но Романова не умела сказать: нет. Не водилось в ее характере такой необходимой для жизни черты. Этим все пользовались. Но и она, надо сказать, тоже широко пользовалась человеческой мягкостью и добротой. А ее много вокруг, доброты. Просто люди больше замечают зло, а добро считают чем-то само собой разумеющимся. Как солнце на небе. Добро заложено и включено в саму природу. Солнце светит, под солнцем зреет огурец на грядке. Человек его ест. Потом сам становится землей, и на нем (на человеке) зреют огурцы.

И никто никому не говорит «спасибо». Огурец не говорит «спасибо» солнцу, а человек не благодарит огурец. И земля не говорит человеку «спасибо», принимая его в себя. Все само собой разумеется.

Солнце светит потому, что это надо кому-то. Земле, например. Само для себя солнце бы не светило. Скучно светить самому себе. И Романова для себя лично ничего бы не рисовала. Она оформляет детские книжки, это надо детям.

В этих и других размышлениях Романова провела день до вечера, успевая при этом заниматься по хозяйству, и готовиться в дорогу, и отвечать на телефонные звонки.

Вечером позвонил детский писатель Шурка Соловей и попросил, чтобы вышла.

Романова когда-то года два назад оформляла Шуркину книгу, и они один раз переспали. От нечего делать. Шурка не годился в мужья. И в любовники тоже не годился. Почему? А черт его знает.

Была всего одна ночь, но они оба запомнили. Шурка много говорил, рассказывал все свое детство, выворачивал душу наизнанку, как карман. И они вместе рассматривали, перебирали содержимое этого кармана — откладывая ненужное в сторону. Что-то выкидывали вовсе. Вытряхивали, чистили Шуркину душу.

Производили генеральную уборку.

А утром жизнь растащила по своим углам. Была одна ночь, которая запомнилась. И туда, как к колодцу, можно было ходить за чистой водой. Зачерпнешь воспоминаний, умоешься — и вперед.

Шурка позвонил вечером и сказал:

— Спустись вниз.

Романова спустилась. Шурка сидел в машине. В старом «Москвиче».

Романова села рядом. В машине было неубрано, валялись железки, банки, тряпки. Это была одновременно и машина и гараж.

— У меня от поездки остались восемь тысяч лир, — сказал Шурка. — Это копейки. Самостоятельно на эти деньги ничего не купишь. Но доложишь и купишь.

Шурка вытащил из кармана сложенные бумажки. Протянул.

— Спасибо, — растроганно сказала Романова.

— Ты их только не прячь. Не вздумай совать в лифчик. Положи на виду. В карман плаща.

– А почему надо прятать? — удивилась Романова

— Провоз валюты запрещен.

— Ты же говоришь, это копейки.

— Не имеет значения. Валюта есть валюта. Восемь лет тюрьмы.

Романова задумалась: с одной стороны — жалко отказываться от денег, а с другой стороны — не хочется в тюрьму.

— Да не бойся, — успокоил Шурка. — Если спросят откуда, скажи: Шурка дал. Назовешь мою фамилию.

— А ты не боишься?

— Нет. Не боюсь.

— Почему?

— Не знаю. Лень мне бояться. На страх надо силы тратить, а я ленивый человек.

Шурка грустно примолк. То ли осуждал себя за лень, то ли скучал по Романовой, по той ночи, когда он был самим собой в лучшем своем самовыражении. Как хорошо и умно он говорил, как неутомимо и счастливо ласкал. Больше у него ни с кем так не получалось. Чего-нибудь обязательно не хотелось: то ли говорить, то ли ласкать.

В машине образовалась тишина. Но не тягостная, когда нечего сказать. А тишина переполненности, когда много слов замерли в воздухе и не движутся.

Смеркалось. По тропинке к дому шли мальчик и девочка, оба юные, тоненькие, как будто несли кувшин на голове. Боялись расплескать предчувствие любви.

Романова вгляделась и узнала свою дочь Нину. Она выскочила из машины и заорала:

— Нина! Я привезу тебе джинсы! Придешь домой, смеряй сантиметром: талию, бедра и расстояние от пупа до конца живота. Поняла?

Нина остановилась и замерла. Она боялась приближаться и идти мимо матери.

Шурка взял Романову за руку и затянул ее в машину.

— А дома ты не могла ей сказать? — с осуждением спросил Шурка.

— Могла. Но это была бы не я.

Вот это правда.

Романова делала в жизни много ошибок, потому что не умела терпеть и ждать. И если разобраться, вся ее жизнь была одна сплошная ошибка, не считая дочери и профессии. Тогда что же остается? Вернее, кто?

Самолет на Милан взлетал в семь утра. В аэропорт надлежало явиться за два часа. Значит, в пять.

Туристы стояли вялые, безучастные. Когда хочется спать, не хочется уже ничего. Природа пристально отслеживает свои интересы и моментально мстит за недостаток сна, еды, питья и так далее и тому подобное.

Сдавали багаж. И в этот момент произошло некоторое оживление. Старушка-анималистка (рисовала животных для наглядных пособий и для детского лото) потеряла паспорт и начала его искать. Похоже было, что она оставила документ дома и поездка срывалась. Пограничники на слово не верят. Это граница. И кто может поручиться, что старушка — не работник ЦРУ. Зайчики, мышки — это так. Для прикрытия. А основная

деятельность в другом. В подрыве социалистических устоев. Наверняка эта старушка из бывших. Иначе откуда эта аристократическая манера путешествовать в семьдесят. В семьдесят лет сидят дома и нянчат внуков, а то и правнуков.

Старушка (ее звали Екатерина Васильевна) судорожно рылась в чемодане. Она вспотела, была близка к апоплексическому удару. Двоеженец Лева Каминский взял сумку Екатерины Васильевны и вытряхнул всю ее на пол, на кафель аэропорта. Покатилась помада, заскользила расческа, выпали смятый носовой платок, мелочь, спички, махорка, высыпавшаяся из сигарет, и среди прочего узенькая книжечка паспорта.

Все выдохнули с облегчением. Лева Каминский поднял паспорт и сам передал таможеннику. Старушке он больше не доверял. Екатерина Васильевна возвращала свое добро обратно в сумку — монетки, помаду — в обратном порядке. В ней все кипело и пузырилось, как в только что выключенном чайнике. Огня уже нет, но еще бурлит и остынет не скоро.

Романова успела заметить, что в момент поиска лица туристов были разнообразны: одни выражали обеспокоенность, другие равнодушие (как будет, так и будет). Третьи были замкнуты. На замкнутых лицах читалось: «Каждому свое» — как на воротах Освенцима.

Раскольников смотрел перед собой и как бы отсутствовал. Возможно, спал стоя. Как конь.

А высокий принаряженный грузин по имени Лаша совершенно не хотел спать. Он был торжественно воз-

бужден предстоящим путешествием. Лаша родился в деревне под Сухуми, в бедной семье. Отец пришел с войны без ног. Все детство прошло возле инвалида, в ущербности и бедности. У Лаши вызревала мечта — выбиться в люди, занять хорошую должность и путешествовать по миру с другими уважаемыми людьми. Все свершилось. Лаша жил в Москве в самом центре, занимал должность небольшого начальника в Союзе художников. А сейчас отправлялся в страну Италию с художниками и искусствоведами. Свершилось все, о чем мечтал, и даже чуть-чуть больше.

Лаша поглядывал на Романову. Она была самая молодая и самая привлекательная из существующих женщин. Старушка и лесбиянка не в счет. Жена Большого художника — тоже мимо, поскольку притязания на жену — прямой выпад против начальства. Остальные женщины порядочные, а потому пресные.

Лаша недавно развелся и искал подругу жизни. Романова вполне могла стать подругой на период путешествия. Лаша давно заметил, что такие вот — умненькие, очкастые — самые развратные, изобретательные в постели. Лаша старался держаться поближе и поглядывал заинтересованно.

Романова быстро подметила его заинтересованность и решила поэксплуатировать.

— Вы грузин? — спросила она.

— Грузин, — сказал Лаша. — А что?

— Значит, рыцарь?

Лаша насторожился.

— Возьмите себе мою валюту. Тут мелочь...

Романова вытащила итальянские лиры.

Лаша выстроил обиженное лицо. Он не хотел рисковать. Можно было потерять не только путешествие, но и работу. И свободу. А в тюрьме плохое питание, неудобный сон и вынужденное общение. В тюрьме плохо. А он так долго жил плохо и только недавно стал жить хорошо.

Однако отказывать было стыдно, тем более что Романова включила национальное самосознание. Грузин — рыцарь, а не трус.

Лицо Лаши становилось все более обиженным. Сейчас заплачет.

— Ладно, — сказала Романова. — Грузин называется.

Она отошла. Отошла возможность комплексного счастья: Италия + женщина. Оставалась только Италия.

«Ну и черт с тобой, — подумал Лаша. — Зато не будет отвлекать». Лаша был человек увлекающийся, он нырнул бы в Романову с головой и просидел там все десять дней и ничего не увидел. Стоило ехать в такую даль, платить семьсот рублей... Лаша утешился.

Романова стояла в растерянности. Сейчас начнут рентгеном просвечивать ручную кладь и всю тебя. Хоть бери да выбрасывай лиры в плевательницу.

Раскольников держал в руках толстую книгу в рыжем кожаном переплете.

— Давайте познакомимся, — предложила Романова. — Меня зовут Катя Романова.

— Я знаю, — спокойно сказал Раскольников.

— Откуда?

— У меня есть сын, а у сына ваша книга «Жила-была собака». Это наша любимая книга.

— Спасибо, — задумчиво поблагодарила Романова. — Вы не возьмете у меня восемь тысяч лир? Я боюсь.

Она прямо посмотрела в круглые озера его глаз и показала сложенные бумажки.

Раскольников молча взял их и сунул во внутренний карман своего плаща. Всего два движения руки: одно к деньгам, другое к карману. В сущности, одно челночное движение. И весь разговор.

Когда вошли в самолет, сели рядом. Раскольников молча проделал второе челночное движение руки: от кармана к Романовой с теми же сложенными бумажками.

— Спасибо, — сказала она.

— Не за что.

— А вы не боялись?

— Кого? ИХ?

Взгляд его синих глаз стал жестким. В старые времена сказали бы «стальным». Если бы Романова решила нарисовать эти глаза, то подбавила бы в голубую краску немножко черной.

«Странный, — подумала Романова. — Сумасшедший, наверное...»

Вот Лаша — тот не был сумасшедший. Нормальный советский человек.

Раскольников углубился в рыжую книгу.

— А что это у вас? — осторожно спросила Романова.

— Путеводитель по Италии.

— А зачем? Нас же будут возить и водить.

— Вы считаете, этого достаточно?

Раскольников внимательно посмотрел на Романову, и ей стало неловко за свою обыкновенность.

Она откинулась на сиденье и закрыла глаза.

А Раскольников открыл путеводитель на нужной странице и был рад, что ему никто не мешает. Он был серьезный человек и ко всему относился серьезно.

Первое ощущение Италии было на слух. В аэропорту Милана какая-то женщина громко звала: «Джованни-и! Джованни-и!»

Последнее «и» на полтона ниже, чем все слово. В музыке полтона называется малая секунда. А в России кричат: «Ва-ся-я!», и последнее «я» на два тона ниже. В музыке это называется терция. Разница в полтора тона. Мелочь, в общем...

В Италии едят на гарнир спагетти, у русских — картошку. У них каждый день спагетти, у нас каждый день картошка. Тоже мелочь.

У них лира, у нас рубль. У них капитализм, у нас социализм. А вот это не мелочь.

Русские в Италии. Каждый дожил до своей Италии и привез в нее свое душевное богатство и широкую русскую душу. Но со стороны этого было незаметно — широты и богатства. Со стороны гляделся некрасивый багаж, скучная одежда и стоптанная обувь.

Старушка мечтала увидеть Колизей. Богданов — попасть в галерею Уффици.

Лаша осторожно поглядывал на Романову, как бы перепроверяя свои возможности на новой земле.

Романова искала глазами витрины, у нее было на восемь тысяч больше, чем у всех. А Надя Костина, выспавшись в самолете, оглядывала группу. Ей нравила жена Большого Плохого художника — яркая блондинка. Она была высокая, просторная и белая, как поле ржи. Большие Плохие художники выбирают себе лучших.

А еще Надя постоянно помнила о бутылке водки, которую она с наценкой купила в аэропорту. Бутылка лежала на дне сумки и осмысляла жизнь, как живое существо.

Первый день показался длинным, потому, наверное, что начался в четыре утра. Он тянулся и никак не мог окончиться. И в этом дне запомнился только дождь, что большая редкость в Италии в июне месяце. Италия — южная страна. Находится на одной широте с нашей Молдавией. И язык похож. Но и только. И только. Все остальное — разное. Особенно витрины.

Советские туристы не могли сделать шагу, чтобы не остолбенеть и не замереть, как будто они наступили на оголенный провод и через них пошел ток.

Романова застыла перед шубой. От одного конца витрины до другого, как цыганская юбка, простирался легкий мех норки. Существовала, наверное, особая обработка, после которой мех становился как шелк. Советский мех — как фанера. Может быть, фанера практичнее и нашей шубы хватит на дольше. Но, как говорится, «тюрьма крепка, да черт ей рад».

Лаша замер перед лампой. Она представляла собой большой хрустальный шар, в нем переплетались разноцветные светящиеся нити, и он медленно крутился, как земля, а нити играли зеленым, синим, малиновым.

Лаша понял, что его мечта перешла на новый виток. Теперь он хочет вот такую лампу, вот такую кровать и вот такую женщину. Как на фоторекламе. И вот такую страну. Боже, как это далеко от его деревни под Сухуми. Как жаль отца, который умер и ничего этого не видел. Что видел отец? Деревню. Фронт. Госпиталь. Деревню. Круг замкнулся.

А Лаша прорвал этот круг и вырвался из него — как далеко. До самой Италии. До этой витрины. Лампа кружилась. Обещала.

— Па-сма-три-и... — выдохнул Лаша, обернувшись к Романовой, которая стояла и бредила наяву возле норковой шубы цвета песка.

Жену Большого Плохого художника отнесло к витрине с драгоценностями. Там на бархате сиял бант из белого золота, усыпанный бриллиантами. Надеть маленькое черное платьице и приколоть такой вот бантик. И больше ничего не надо. И тогда можно прийти в любое общество и выбрать себе Самого Большого Плохого художника. Брежнева, например. Леонида Ильича. А можно молодого и нахального, в джинсах, с втянутым животом.

Большой Плохой художник тоже носит джинсы, но у него при этом зад как чемодан. С той разницей, что чемодан можно спрятать на антресоли, а зад приходится лицезреть каждый день.

Подошел художник-плакатист Юкин.

— Тебе нравится? — спросила Жена, указывая на бант.

— Кич, — ответил Юкин.

Кич — значит смешение стилей, то есть безвкусица. Но Жена не знала, что такое кич, и решила, что это одобрение, типа «блеск».

— Купи, — пошутила Жена.

У Юкина не хватало денег даже на коробку.

— Я бы купил, — серьезно отозвался Юкин. — Для тебя.

Жена посмотрела на Юкина. Он был в джинсах, с втянутым животом и всем, чем надо. Но не великий. И даже не маленький. Никакой. Оформлял плакаты типа «Курить — здоровью вредить».

Он был никакой для общества. Но для себя он был — ТАКОЙ. И для друзей он был — ТАКОЙ. А его другом считался и был таковым художник Михайлов. Восходящая звезда. Михайлов писал картины и работал в кино, был одновременно членом двух творческих союзов — художников и кинематографистов.

Пушкин говорил: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Художник Михайлов был дельным человеком, но не думал о красе ногтей, о чистоте волос и о прочих мелочах, сопутствующих человеку. Он был как алмаз, требующий шлифовки. В данный момент на итальянской земле он пребывал в запыленном состоянии, когда алмаз не отличишь от стекляшки.

Костина приблизилась к Михайлову и показала ему горлышко бутылки, как бы спрашивая: «Хочешь?»

Юкин тут же подошел к ним и строго сказал Михайлову:

— Мы же договорились.

— А я ничего, — отрекся Михайлов.

Юкин и Михайлов договорились, что всю Италию они не возьмут в рот ни капли. Они договорились и даже поклялись во время прогулки на Ленинских горах. Как Герцен и Огарев. Суть клятвы была разная. Но решимость довести дело до конца — одна и та же.

— А ты не провоцируй, — строго сказал Юкин Наде.

— Пожалуйста, — обиделась Надя.

Она проявила царскую щедрость, а ее же за это и осуждали. Воистину, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Однако ей скучно было пить без компании. Пить — это не только пьянеть. Это вид сообщества, поиск истины, приобщения к всемирной душе. Трезвые люди — одномерны и скучны. Им не понять великого перехода в третье измерение. Им не понять лесбийской любви, где нет власти и насилия одного над другим, а есть одна безбрежная нежность. Надю Костину вообще никто не мог понять, и она скучала среди людей. И принимала успокоительное в виде алкоголя.

Надя подошла к Богданову и спросила:

— Хотите, Лев Борисович?

— Да что вы, — удивился Богданов. — Я с утра не пью. И вам не советую.

Богданов отвернулся к витрине с антиквариатом. В ней были выставлены старинные граммофоны, шарманки,

рамы для картин с тяжелой лепниной. Если бы можно было заложить в ломбард десять лет жизни и на вырученные деньги скупить все это...

Богданов занимался девятнадцатым веком, и ему было интереснее ТАМ. Все интереснее: вещи, мысли, личности, воздух, еда. Здесь, в сегодняшнем дне, он находился как бы случайно. Как эмигрант в чужой стране. И женщины сегодняшнего дня ему не нравились, слишком много в них мужского. Добытчицы, зарабатывают хлеб в поте лица, носят брюки, пьют водку.

Когда Богданов смотрел на женщину, то мысленно переодевал ее в длинное платье, широкополую шляпу, украшенную искусственными цветами. Смешной был человек Богданов.

Но все они сейчас — и смешные, и серьезные, и никакие, — все замерли перед витринами, и их невозможно было сдвинуть с места.

— Не пяль-тесь! — в отчаянье взвыл руководитель группы.

Автобус ждал. Все было расписано по минутам. Опаздывать нельзя. Туризм — это бизнес. К тому же совестно за своих: стоят, как дикари, которым показали бусы.

— Не пя-ль-тесь же! — брезгливо орал Руководитель.

Руководитель — из националов. Народный художник. Его лицо было плоское, в морщинах, как растрескавшаяся земля. И непривычно широкое для итальянцев.

Итальянцы оборачивались и смотрели на него и на двоеженца, у которого из сандалии сквозь дыру в носке

трогательно глядел большой палец. Видимо, ни одна из двух жен не хотела зашить, оставляла другой. И вообще, Лева был неухожен, будто у него не было ни одной жены. Видимо, две и ни одной — это одно и то же. Должна быть одна.

Туристы мирились с окриками Руководителя. Раз он кричит, значит, так надо. Ему можно. Они вздрагивали, как стадо коз под бичом пастуха, и покорно шли дальше.

Тайная вечеря

Романова много раз видела репродукции. И подлинник похож на копии. Но и отличается. Из подлинника летит энергия мастера. А в копии — между мастером и Романовой стоит ремесленник.

Рассеянный экскурсовод рассказывал: кто изображен (Христос и апостолы), почему они собрались и что будет потом. Именно на Тайной вечере Христос сказал: «Один из вас предаст меня». Лицо Иуды в тени. Он боится, что его опознают. Иуда — предатель. С тех пор человечество не пользуется его именем. Нет ни одного — ни взрослого, ни ребенка — с именем Иуда. Иуда — синоним «предатель», а значит, мерзавец.

Богданов возразил: Иуда раскаялся в своем поступке и повесился на осине. Он покончил с собой — значит, уже не мерзавец. Мерзавцы после предательства живут так, будто ничего не случилось.

Экскурсовод не принял реплики, сказал, что человечеству безразлично дальнейшее поведение предателя. Бо-

лее того, он испортил репутацию осины и осина с тех пор неуважаемое дерево.

Раскольников стоял чуть в стороне, он смотрел, смотрел, будто втягивал изображение в свои глаза, потом тихо заговорил поверх голоса экскурсовода. Забубнил, как в бреду. Но все стали слушать... Если бы не было предательства, Христа не распяли бы. Если бы не было распятия — не было бы и христианства. Именно после смерти на кресте пошло начало и шествие христианства по всему миру.

А что такое Христос, избежавший креста? Это Христос без христианства. А зачем он нужен? Значит, Иуда был необходим. Иуда тоже пошел на смерть. Добровольно. Его миссия велика. Но он поруган. Он проклят на все времена. Он, как навоз, лег в землю, на которой взросли розы. Люди видят только розы. И не помнят о навозе. И брезгливо отворачивают носы при одном упоминании. Но христианство победило и держит мир. И в этом участвовали двое: Христос и Иуда.

Все слушали. И экскурсовод слушал. Никто не возражал, даже Богданов. Из Раскольникова выплескивалась какая-то особая энергия. Он недобрал в весе, но превосходил духом. И Романова чувствовала эту превосходность. И ей хотелось подчиниться и идти за ним, как апостол за Христом. Да они и похожи: то же аскетическое лицо, глаза, не видящие мелочей. И выражение лица. Нигде и никогда Христос не изображен смеющимся. Ему надо было создать учение и мученически умереть в молодые годы. Какое уж тут веселье.

* * *

Вечером отправились смотреть порнуху.

Пошли не все. Старушка, Богданов и Руководитель остались из моральных соображений. Двоеженец — из материальных. Ему надо было купить подарки в две семьи, а билет стоил дорого.

Остальные не стали маяться. Сложились и пошли.

Кинотеатр был маленький, тесный, и фильм — не фильм, а что-то вроде наших «новостей дня». Сначала на экране посыпалось зерно — сюжет на сельскохозяйственную тему, потом забегали по футбольному полю юркие негры — спортивный сюжет, потом — выставка машин новейших марок. На крутящемся стенде вокруг своей оси вращались машины, которые отличались от наших много больше, чем спагетти от картошки. Никакой порнухи не было. Вышла осечка. Деньги пропали. Но вдруг на сороковой минуте выскочил маленький сюжет: девица моется под душем, совершенно голая, разумеется. Моется очень тщательно. И долго. И тщательно. А потом к двери подходит молодой мужчина, отдаленно похожий на Юкина, и подсматривает. А потом входит в ванную, запирает за собой дверь и помогает ей мыться, но заодно и мешает. Отвлекает от мытья.

Романова впервые видела порнуху не в своем воображении, а отдельно от себя. Кто-то другой демонстрировал свое воображение на экране. Ничего принципиально нового Романова не увидела. Все это она предполагала и без них.

Лаша сидел рядом, и это было особенно стыдно. Его глаза сверкали, как два луча, и прорезали темноту зала.

С другой стороны сидел Раскольников. И Романова плохо себе представляла, как они посмотрят друг на друга, когда зажжется свет. Все это походило на соучастие в чем-то непристойном.

Однако свет зажегся. Все поднялись и отправились пешком в гостиницу. Шли молча. Юкин и жена Большого Плохого художника отстали.

— Ты такая большая, как стела, — сказал Юкин.

— Это мое имя, — ответила Жена. — Меня зовут Стелла.

— Стелла по-итальянски «звезда», — хрипло сказал Юкин.

Ему было трудно говорить. Весь его низ напрягся, восстал. Ему было трудно говорить и передвигаться.

Юкин обнял Стеллу и прижался всем телом к ее большому телу. И еще осталось место.

«Как давно у меня этого не было», — подумала Стелла.

Итальянцы шли мимо них, не обращая внимания. Для итальянцев это было нормально, как имя Джованни и как спагетти под томатным соусом.

Романова вошла в свой номер. Посредине — сдвоенная кровать шириной примерно четыре метра, а может, и шесть. Брачное ложе. На стене, над спинкой кровати — образок Мадонны, благословляющей священный союз.

Надя Костина лежала поверх одеяла, одетая. На полу — начатая красивая бутылка вермута.

Романова в этот вечер не прочь была принять новый сексуальный опыт. С женщиной. Но Надя Костина ей не нравилась. Она была — если можно так выразиться — не

в ее вкусе. Более того. Вернее, менее того. Она была ей неприятна. И хорошо, что кровать широкая и на ней две подушки и два одеяла. Можно переодеться в ночную рубашку и лечь на свою левую сторону, забыв о правой стороне.

Романова именно так и поступила. Она легла и затаилась в ожидании сексуальной агрессии.

Но Наде Костиной хотелось совсем другого. Ей хотелось поговорить и чтобы ее послушали. Алкоголь обострил ее восприятие, мысли толпились и рвались наружу. Каждая мысль — остра, неординарна. Жалко было держать в себе, хотелось поделиться, как пищей и вином. Как всем лучшим, что она имеет.

Костина говорила, говорила, обо всем сразу: об итальянском Возрождении, о буржуазии, об истории карикатуры...

Романовой страстно хотелось одного: спать, спать, спать... А Костиной говорить, говорить, говорить...

«Лучше бы она хотела другого, — подумала Романова. — Это было бы короче...»

Кончилось тем, что они выбрали каждая свое: Романова заснула под шорох золотого словесного дождя, где каждое слово — крупинка золота. Жаль, что не было магнитофона и все слова ушли в никуда. В воздух. Воспарили к потолку. И растаяли.

На другой день была Венеция. К Венеции подъезжали морем на речном катере, и она выступила из-за поворота черепичными крышами. У Лаши были полные глаза слез. Чистые слезы чистого восторга. И Романова тоже ощутила влажный жар, подступивший к глазам...

Пожалуй, это были самые счастливые минуты во всем путешествии: водная гладь, стремительный катер и набегающий город — такой наивный и вечный, как детство.

Раскольников стоял с сумкой через плечо и всматривался в город, как в приближающегося противника: кто кого.

Романова снова ощутила превосходство этого человека над собой. Да и надо всеми. Что-то в нем было еще плюс к тому. Все как у всех и плюс к тому. Хорошо бы узнать — что?

Снова гостиница. При гостинице — ресторан. Суп — в шесть часов, а не в два, как в Москве. Итальянцы принимают основную еду в шесть. И конечно, спагетти под разнообразными соусами, и мясо, как «шоколата». Как шоколад, не в смысле вкуса, а в поведении на зубах. Оно жуется легко и как бы сообщает: «Ты голоден — ешь меня. Жуй и ни о чем не беспокойся. Я только то, что ты хочешь».

Наше советское перемороженное мясо как бы вступает в единоборство с человеком. Кто кого. «Ты хочешь разжевать, а я не дамся. Хочешь проглотить? Подавись».

Туристы с вдохновением поглощали итальянскую кухню — все, кроме Раскольникова. Раскольников сидел бледный и держал руку на животе.

— Язва открылась, — сказал он Романовой, отвечая на ее обеспокоенный взгляд. — У меня это бывает.

Когда принесли спагетти, он попросил без подливки.

— А можно его подливку мне? — поинтересовался двоеженец.

— Переводить? — усомнилась переводчица Карла.

— Ведите себя прилично, — посоветовал Руководитель.

— А что здесь особенного? — удивился двоеженец.

Карла перевела. Официант не понял. Потом понял. Удивился, но смолчал. При чем тут «его подливка, моя подливка»... Синьор хочет больше соуса? Пусть так и скажет.

К обеду полагалось вино: белое или розовое. Надо было выбрать.

— А можно то и другое? — спросила Надя Костина.

— Ведите себя прилично, — снова попросил Руководитель. — Что они подумают о русских...

У официанта действительно было свое мнение о разных народах. Русские никогда не дают на чай. Немцы платят десять процентов от обеда. Американцы — не считают. Дают широко. Французы жмутся. Жадная нация. А русские — бедная. У них, говорят, самая передовая идеология, но идеологию на чай не оставишь. Да и зачем она нужна при пустом кошельке. Пустой кошелек — это и есть идеология. Вот что думал шустрый кудрявый официант. Но вслух, естественно, не говорил. Да они бы и не поняли. Русские ели жадно и неумело. Редко кто правильно управлялся с ножом и вилкой. Хватали руками, как дети. И если у них отнять тарелки — они бы, наверное, заплакали.

Венеция — это каналы, гондолы и гондольеры.

Гондольеры — довольно пожилые дядьки, одетые в соломенные шляпы с ленточкой, как в старые времена.

И каналы те же. И так же поют под мандолину «О соле мио». Но за «соле мио» надо заплатить. Поэтому русские слушали с чужих лодок.

Вода плескалась в дома, и стены домов были зелеными от ила и водорослей. «Культура, конечно, романтичная, — думала Романова. — Но разве удобно жить, когда фундамент в воде. Сырость».

Богданов сидел, закрыв глаза, и слушал плеск весел.

Гондольер напряженно орудовал веслом, поскольку лодка была тяжелая. Русских набилось, как сельдей.

Раскольников оказался прижат к Романовой. Ему было некуда девать руку, потому что рука с плечом тоже занимала место, по крайней мере десять сантиметров. Раскольников положил руку на плечо Романовой. Иначе было не выйти из положения.

Легкий итальянец-фотограф прыгнул на корму и щелкнул.

А потом оставил фотографию в гостинице у портье. Это его бизнес. Щелкнул без спроса и принес в гостиницу: хочешь — покупай, не хочешь — не надо. Он рисковал. Но риск оказывался оправдан. Почти все фотографии раскупались. И Романова тоже купила за те самые восемь тысяч лир. И до сих пор у нее есть эта фотография: он и она, ужаленные Италией.

Романова хотела, чтобы лодка двигалась вечно и никогда не приставала к берегу. Но лодка тем не менее пристала. Раскольников подал ей руку, помог выйти. А потом не отпустил руку. А она не отняла.

Днем что-то происходило. Какая-то экскурсия. Романова не запомнила. День вылетел из головы. Остался вечер.

Стемнело. Отправились гулять по городу целой группой. Не все улицы — каналы. Есть и просто улицы, вдоль них стоят богатые виллы, а в них живут богатые люди. Очень богатые.

«Па-сма-три», — выдохнул Лаша и замер напротив виллы из белого мрамора, увитой виноградом.

Его шок длился несколько секунд, за это время туристы свернули за угол. Лаша потерялся.

Следующими потерялись Юкин и Стелла. Группа медленно таяла в венецианских сумерках.

Романова и Раскольников зависли между небом и землей, взявшись за руки.

— Ты женат? — спросила Романова.

— Да. Но мы не живем вместе. Я полюбил другую женщину.

— А кто эта другая?

— Ты не знаешь. Она — мой редактор.

Но если он любит другую, то почему целый день не отпускает ее руку... Так не ведут себя, когда любят другую. Значит, он и другую тоже разлюбил. В этом дело.

— А где ты сейчас живешь? С кем?

— Один. Я живу за городом. На даче.

— Каждый день ездишь на работу?

— Я не работаю. Вернее, работаю. Я пишу философский трактат «Христос и Маркс».

Романова удивилась: что общего между Марксом и Христом, кроме того, что оба иудеи.

— Я работаю ночью. А днем сплю.

— А во сколько ты просыпаешься?

— В восемь часов вечера.

— А когда ты ешь?

— Я ем один раз в сутки. Когда просыпаюсь.

«Поэтому такой худой», — догадалась Романова.

— Ночью прекрасно. Ни души. Я могу гулять, думать. Деревья, луна...

«Сумасшедший, — догадалась Романова. — Мания преследования. Избегает людей».

— Тебе кажется, что тебя кто-то преследует? — проверила она.

— Жена. Она приходит и все время от меня чего-то хочет. А я от нее уже давно ничего не хочу.

— А редакторша?

— Она любит меня. А я ее. Она ждет ребенка.

«Так, — подумала Романова. — Мне места нет».

Но отчего он так расстроен? Он любит. Его любят. Ребенок. Все же хорошо.

— У тебя все хорошо, — сказала Романова, гася в себе разочарование.

— Да, — кивнул он и вдруг обнял. Прижал. Руки оказались неожиданно сильные для такого легкого тела. Зарылся лицом в ее волосы. Дрожал какой-то нервной, подкидывающей дрожью.

Сели на лавку и стали целоваться. Его сердце стучало гулко и опасно, как бомба с часовым механизмом. Сейчас рванет — и все взлетит на воздух: прошлое, настоящее, будущее — все в клочки. И пусть. Разве не

этого она ждала последние десять лет? Ждала и зябла от нетерпения...

— Иди сюда, — позвал он.

Зашли в телефонную будку. Было тесно и неудобно.

— Не надо, — сказала Романова, удерживая его руки.

— Надо...

Она услышала его руки на своем теле, будто он тщательно и осторожно подключал ее к высокому напряжению. К электрическому стулу. Сейчас ошпарит током и убьет. Так оно и оказалось. Долгая блаженная агония сотрясла все нутро. Душа отлетела. Потом вернулась. Медленно вплыла обратно. Романова очнулась.

— Родная, — тихо сказал Раскольников.

И это — правда. Они были одного рода и вида.

Именно ОДНОРОДНОСТЬ поразила, когда увидела его в первый раз, сидящего напротив. А вовсе не худоба и не цвет волос. Мало ли худых и светловолосых. Она увидела его и о чем-то догадалась. Вот об этом...

Муж встретит в аэропорту. Она отдаст чемодан с джинсами, скажет «прости» и уйдет за Раскольниковым. Куда он — туда она. Он — в лес, она — за ним. Он будет днем спать — и она с ним. И гулять под луной, и есть раз в сутки, и разговаривать про Христа и Маркса. Только бы слышать его бубнящий голос, ловить витиеватую мысль на грани ума и безумия. И умирать. И воскресать.

Надя была непривычно молчалива. Она быстро, по-походному разделась и легла спать в майке, в которой ходила весь день. Носки она тоже не сняла. Ей хотелось спать.

А Романовой — говорить. Они не совпадали по фазе.

Романова давно заметила такие совпадения и несовпадения между людьми. Бывает: она работает, или варит кофе, или моет голову... И если в этот момент, явно неподходящий, звонит телефон, Романова понимает, что звонит не ЕЕ человек. Они на разных фазах. ЕЕ человек позвонит в подходящий момент, когда кофе выключен, голова вымыта, а работа закончена.

Надя лежала с закрытыми глазами.

— Ты спишь? — проверила Романова.

— А что? — отозвалась Надя.

— Ты знаешь этого... худого? — безразлично спросила Романова.

— Леньку, что ли...

Значит, у него есть имя. Леонид. Как небрежно она обращается с его именем.

— Он с Востряковой живет. На ее счет, — сообщила Надя.

— В каком смысле?

— Во всех. Она его кормит. Занимается его делами.

— Красивая?

— Была.

— Почему «была»? Она его старше?

— Лет на десять... Ну, может, на пять... — смилостивилась Надя.

— Он один живет, — возразила Романова.

— Слушай больше. Он расскажет.

Романова не огорчилась. Наоборот, ей понравилось, что о Раскольникове говорят пренебрежительно. Пусть он хоть кому-нибудь неприятен. Это делает реже толпу возле него. Легче протолкаться...

Единственная правда в Надиных словах — та, что редакторша не хороша. Она, Романова, много лучше.

Надя заснула.

Романова вспомнила, как он целовал ее после всего, боясь нарушить, расплескать, и поняла: так притвориться нельзя. Нельзя притвориться мертвым, сердце ведь все равно стучит. И нельзя притвориться живым, если ты умер. А любовь — в одной цепи: жизнь, смерть, любовь.

Существует еще одна цепь: семья, дети, внуки... Продолжение рода. Единственно реальное бессмертие. И Раскольников здесь ни при чем. Но почему он случился, Раскольников? Откуда этот бешеный рывок к счастью? Ее чувство к мужу увяло. Душа заросла сорняком. А свято место пусто не бывает. Вот и случился Раскольников.

Бабочка-однодневка живет один день. Собака — пятнадцать лет. Бывает любовь-бабочка, а бывает любовь-собака. Но ведь существует любовь-ворона. Двести лет... Дольше человека...

Венеция, Флоренция — какие красивые слова! От одних слов с ума сойдешь...

Галерея Уффици запомнилась длинными пролетами, подлинниками Боттичелли и тем, что Романова захотела в туалет по малой нужде. Она долго терпела, надеясь обмануть свою нужду, отвлечь на произведения истинного искусства. Но нужда настаивала на своем и в конце концов потребовала незамедлительного поступка.

Где туалет? Кого спросить? И на каком языке?

К Раскольникову обращаться не хотелось. Для него Романова — фея. А феи в туалет не ходят. И питаются лепестками роз.

Экскурсовод рассказывал про Боттичелли. Богданов перебивал, не давал слова сказать и в конце концов сам стал вести экскурсию. Переводчица Карла была счастлива, не надо переводить. Экскурсовод не возражал: деньги те же, а работы меньше.

Романова подошла к двоеженцу и тихо попросила:

— Лева, проводи меня в туалет. Я заблужусь.

— Извини, — тихо сказал Лева. — Я не для того приехал в галерею Уффици, чтобы тебя в туалет водить.

Он сказал это без хамства, как бы с юмором, но ситуация становилась неразрешимой.

— Пойдем, — тихо сказал Раскольников и взял ее за руку. Повел.

Шли молча по бесконечному коридору. Он был бледен и напряженно думал о чем-то. Скорее всего о том, что делать с новой, свалившейся на него любовью. За-

крепить за собой? Или отказаться? У него уже есть сын и должен появиться еще один.

— Да ладно, — сказала Романова. — Как-нибудь вырулим. Бог не выдаст, свинья не съест.

— Что? — нахмурился Раскольников. Он ничего не понял: какой бог? Какая свинья? Куда вырулим?

Автобус летит по магистралям из города в город. Восемь дней, пять городов.

Романова сидит с Раскольниковым в третьем ряду от конца. Они вдвоем. Она держит его за колено. Это уже ее колено. Он не отнимает и даже, кажется, не замечает. Но когда она убирает руку — сразу замечает. Мерзнет. Ему тепло от ее руки.

Раскольников говорит, говорит, но не так, как Надя. Вернее, она не так его слушает. Романова внемлет, ловит каждое слово, и знаки препинания, и даже паузы после точки.

Раскольников говорит о социализме, о Брежневе, о ситуации в искусстве, о своем месте, и получается, что ему там места нет. Такие, как он, получается, не нужны. И не надо. Он ушел в лес. В ночь. Он тоже никого не хочет видеть. И он пишет то, что ему интересно. А ИМ нет. Они это не будут читать. А если и прочитают — не поймут. ИМ бы чего-нибудь попроще...

Романова слушала и смотрела перед собой. Она верила Раскольникову и не очень. Так, как он, рассуждали многие неудачники. У них не получается, значит, кто-то виноват.

Лично ее карьера складывалась легко. При том же Брежневе. При том же социализме. Романова хорошо рисовала. Издательство ценило. Ее книги выходили. Читатели писали письма, в основном дети и их мамы. Иногда папы. Критика благосклонно похлопывала по плечу.

Травинка пробивает асфальт. Так и талант: проклюнется через любую систему. А если не получается пробить, значит, не сильный росток.

Система системой. Но ведь работают и сегодня талантливые художники. И все их знают. Есть таланты, которых зажимают. Но всем известно, кого зажимают. Получается двойная популярность: художника и страдальца.

— А Михайлов... — привела пример Романова. — Что хочет, то и делает.

— Нужна привыкаемость к имени. Если пробьешься, ты свободен.

— Пробивайся, кто тебе мешает.

— То же самое сказал Твердохлебов.

— Кто это? — не поняла Романова.

— Чиновник от культуры. Начальник. Он сказал Востряковой: «Пусть продирается, оставляет мясо на заборе».

«Вострякова — редактор, та самая, что ждет ребенка, — догадалась Романова. — Значит, она действительно занимается его делами».

— А я не хочу продираться сквозь них. Не хочу и не буду.

— А зачем Вострякова ходила к Твердохлебову? Что она ему носила? Философский трактат?

— Нет. Она носила мою пьесу.

— Ты пишешь пьесы?

— Да. Я пишу. И рисую. И у меня есть философские труды.

— Как Леонардо. На все руки.

— И ты считаешь, что гении были только во времена Возрождения? Только в Италии? А в России их нет?

Романова вглядывалась в него с дополнительным интересом. Вот оно как... Он считает себя гением современности. Мания величия. Плюс к мании преследования.

— Ты считаешь себя гением? — прямо спросила Романова.

— Потому что они считают меня говном. И если я им поверю и не буду сопротивляться, я и превращусь в этот минерал.

Нет, не сумасшедший. Просто неудачник с гипертрофированным самолюбием.

— Сколько тебе лет? — спросила Романова.

— Тридцать три.

Как Христу. Однако Христос в тридцать три уже умер, создав Веру. А этот все пробивается.

Замолчали. За окном бежали итальянские пейзажи.

— Ты совсем, что ли, не понимаешь, где ты живешь? — поинтересовался Раскольников.

Романова смущенно промолчала. Ну что делать, если она жила хорошо? Работала, как хотела. Не выполняла ничьих социальных заказов. Мальчики, девочки, кошки и собаки одинаково выглядят при любой системе. Она их

рисовала. Ей платили. На еду хватало. И даже на юбку от спекулянтки. Она любила дочь. И жизнь. А это — вечное, от системы не зависящее.

Ей и в голову не приходило, что бывает другая жизнь, что юбку можно купить не у спекулянтки — какую подсунут, а в магазине — какую ты сам себе выберешь. Что жить можно не в муниципальном многоэтажном доме, в каких живет на Западе арабская нищета, а иметь свой дом. И даже два. И твой талант — это твоя интеллектуальная собственность, которая защищается законом, как всякая собственность.

— Растительное создание, — усмехнулся Раскольников. — Живешь, как лист при дороге. Подорожник.

«Да, подорожник, — мысленно согласилась Романова. — Его трудно сорвать. Он жилистый. Его хорошо прикладывать к ране. Успокаивает».

Полезная вещь подорожник.

— А ты нарцисс, — определила Романова.

Самовлюбленный, нестойкий, красивый. Очень красивый. Глаз не оторвать. Романова и не отрывала. Ее взгляд будто прилепили к его лицу. И этот прилепленный взгляд несся со скоростью сто километров в час по прекрасным итальянским дорогам.

А все дороги, как известно, ведут в Рим.

Рим

— Я заеду за тобой в четыре часа, — кричала по телефону Маша. — Возьми Михайлова.

— Зачем?

— Арсений попросил. Он тоже поедет с нами.

Арсений — оперный певец, поющий в «Ла Скала». Он был приглашен по контракту. Большая редкость для семидесятых годов. Почти экзотика. Один или два человека из огромной России работали на Западе с согласия обеих стран. Это был признак избранности. Как будто пригласили не в Италию, а на Олимп к богам.

Маша — институтская подруга Романовой. Она вышла замуж за итальянского журналиста и переехала в Рим. Это было совершенно логично, когда итальянец изо всех русских женщин выбрал Машу. В Маше было все, что положено: ум, красота, доброта и еще плюс к тому какой-то особый слух к жизни. Она вставала утром, говорила: «Здравствуй, утро» — принималась за день иначе, чем все. С аппетитом, будто ей этот день подали на блюдце и она орудует вилкой и ножиком.

С Машей было весело, как под солнцем. А когда уехала, все погрузилось в серый полумрак. То, да не то.

Романова тосковала по подруге. А Маша осваивала новую страну, новую жизнь, новую себя. Прорывалась, оставляя мясо на заборе. Капитализм — это не легче, чем Твердохлебовы.

— Я покажу тебе свой Рим, — пообещала Маша. — А потом мы все вместе пообедаем.

В программе был Рим глазами избранных и обед в дорогом ресторане. Но в эту программу не входил Раскольников. И значит, все теряло всякий смысл.

— А можно еще одного человека взять? — спросила Романова и добавила: — Он мало ест. У него язва.

— Нельзя, — отрезала Маша. — Машина «блошка». На четыре места. А нас уже четверо: я, ты, Михайлов и Арсений.

На ресторан уйдет часа два. Два часа без Раскольникова. Это все равно что два часа просидеть под водой, зажав нос и рот.

— Я буду в четыре, — повторила Маша. — Стойте перед гостиницей на улице.

Маша была убеждена, что Романова мечтает о Риме, изысканной еде, полноценном общении. Ей и в голову не могло прийти, что она готова променять это все на полслова, полвзгляда какого-то ущербного неудачника с пустыми амбициями.

Романова подошла к Руководителю и сказала, что не поедет смотреть собор Святого Петра, так как у нее встреча с подругой.

— Ваше дело, — легко разрешил Руководитель. — По мне — я бы вас распустил на все четыре стороны и назначил сбор в день отлета.

Для него, как для руководителя, важно, чтобы все вернулись в полном составе. А поведение внутри страны — это личное дело каждого.

— Спасибо, — тускло сказала Романова.

Она еще надеялась, что ей запретят. Скажут «нет». И тогда она останется с Раскольниковым. Но сказали «пожалуйста».

— А Минаев с вами пойдет? — спросила женщина в кудельках.

«Кто такая?» — подумала про себя Романова. Она не помнила, когда та присоединилась к группе: в Москве?

Или в Италии? Но выспрашивать, естественно, не стала. Она слышала: с оркестрами выезжают дополнительные люди, они называются «настройщики». Что-то настраивают.

— А почему он должен со мной пойти?

Романова как бы возвращала вопрос. Пусть отвечает «настройщица». Пусть она сама отвечает на свои вопросы.

Автобус уже ждал возле гостиницы. Все рассаживались на привычные места.

— Я тут отлучусь ненадолго и сразу вернусь. Ничего? — спросила Романова.

— Ничего, — сказал Раскольников. Он был бледен. Держал руку на животе.

— Болит? — посочувствовала Романова.

— Болит.

— Если хочешь, я останусь с тобой.

— Не обязательно.

— Почему?

— Мне хочется помолчать. Мне надо подумать...

Теперь была ее очередь обижаться.

Романова пристально посмотрела на Раскольникова и решила не обижаться.

Ему надо подумать. Разобраться в сложном треугольнике. Не треугольнике даже, целой призме. Столько переплетений... Надо как-то расселить всех в своей душе. Чтобы никто не пострадал. Но ведь это невозможно. Кто-то обязательно пострадает. Значит, надо подумать, подвигать фигуры, как на шахматной доске...

Сидели в дорогом ресторане на улице Бернини.

Принять заказ вышла хозяйка ресторана. Арсений — престижный гость, поэтому ему оказывали почести.

Хозяйка предлагала блюда, записывала меню: жареные бананы, мясо на решетке, плоды из сада моря: лангусты, креветки, устрицы и прочие морские черви.

Романова отметила платье хозяйки: простое, как все дорогие вещи, из натурального шелка. Хозяйка выглядела как фотомодель. Это тоже входило в бизнес.

Романова представила себя в таком платье. Пришла бы в нем к Раскольникову. А он бы сказал: «Я все равно живу ночью, когда все спят. Я никуда не хожу, и тебя никто не увидит». А она бы ответила: «Ты увидишь, ты. А больше мне никто не нужен».

— Ты хотел бы здесь остаться? — спросил Михайлов у Арсения.

— Мне предлагают, но я не хочу, — ответил Арсений.

— Почему? — спросила Романова.

— Не хочу, — уклонился Арсений.

— Творческий человек должен жить там, где ему работается, — произнес Михайлов.

Романова всматривалась в Михайлова. Линия верхнего века была у него прямая, как у Ленина. Вернее, как у чуваша.

Мысль, высказанная Михайловым, была бесспорна: творческий человек должен жить там, где хорошо его ДЕЛУ.

Принесли закуски. Романова начала есть жареные бананы и была так голодна, что не могла смаковать, а

забрасывала в рот один кусочек за другим, как картошку, и наелась до того, как пошли основные деликатесы.

Маша не ела ничего. Рассматривала книгу Романовой «Жила-была собака». Книга — яркая и блестящая, как леденец. Это была большая удача — и Шуркина, и ее. «Мы с тобой сорвали грушу, висящую высоко», — говаривал Шурка.

Маша рассматривала книгу и не могла не думать о себе, вернее — о своей праздности. У Романовой — дочь, книга. А у нее ни того, ни другого, хотя они ровесницы и учились вместе. У нее — Антонио и достойная страна. Это много: муж и страна. Но это — не кровное. Кровное — дело и дети.

— Если я нарисую лучше, чем ты, — неожиданно сказала Маша, — ты мне простишь?

Романову поразил глагол «простишь».

— Прощу, — серьезно сказала Романова. — И буду рада. Но ты не нарисуешь.

— Почему?

— Потому что талант — это прежде всего потребность в работе. А ты до сих пор не подошла к мольберту. Значит, у тебя потребности нет.

— Так, как ты, я смогу.

— Это кажется, — объяснила Романова. — Для того чтобы делать картинки, даже такие, надо все бросить. И всех. Ты не захочешь. Ты слишком любишь жизнь.

— А ты?

— А для меня мои картинки — это и есть жизнь.

— Этого хватает?

— Нет, — созналась Романова. — Не хватает.

Маша промолчала. У нее было все, кроме картинок. Обеим не хватало большого куска пирога в жизни. Они это понимали. Они дружили честно. Зависть не разъедала их дружбу. У каждой были свои козыри в колоде.

Арсений о чем-то тихо разговаривал с Михайловым. Они были оба толстые, но толстые по-разному. Михайлов — от неправильной еды, от большого количества пустой, небелковой пищи. А Арсений толст профессионально. Твердый жир держит диафрагму, а на диафрагму опирается звук, особенно верхнее ля, из-за которого он попал в «Ла Скала».

У Арсения было внимательное, заинтересованное лицо, и весь он был дружественный, щедрый, вальяжный, но Романова видела, что он куда-то торопится. В свою жизнь. Отдает долги старой дружбы. Однако его поезд ушел далеко вперед и мелькают другие полустанки.

Позже, когда прощались, усаживались в машину и машина тронулась, Романова оглянулась назад и увидела лицо Арсения. Он смотрел куда-то в сторону и уже забыл о ресторане, о русских. Спустя секунду он забыл обо всех напрочь. Начиналась другая жизнь.

Обидно? Да нет. Невозможно ведь быть необходимой каждому человеку. Однако такая скоротечность наводит на философские размышления о жизни и смерти. Только что сидели за столом — и вот уже расстались навсегда.

— Я сейчас покажу вам свою точку, — сказала Маша.

— Какую точку? — не понял Михайлов.

— Здесь на горе есть потрясающий ракурс: кусок Рима и дерево. Шатер зелени и черепичные крыши...

Романова хотела в гостиницу. Ей не нужна была чужая точка. И шатер зелени тоже не нужен. Но Маша уже остановила свою машину.

— Сюда! — позвала Маша, и Романова послушно пошла. И встала. И смотрела. И было красиво. Но не нужна эта красота ей ОДНОЙ. Без со-участия, со-переживания близкого ей человека. Это все равно что в одиночку есть жареные бананы.

А Михайлов смотрел сощурившись и закладывал этот пейзаж в свой внутренний компьютер. Когда надо, он вызовет из памяти и бросит на холст.

Советские туристы располагались на двух этажах маленькой дешевой гостиницы. Романова не знала, в каком номере живет Раскольников, и решила заглянуть в каждый. Искать методом тыка. Этот метод был самым длинным, но самым безошибочным.

Романова толкнулась в первый от двери номер и увидела тетку с кудряшками. Вернее, в процессе создания кудряшек. Она закручивала волосы на резиновые бигуди.

— Простите, который час? — спросила Романова, будто именно за этим и пришла.

— Одиннадцать, — ответила тетка.

Значит, Романова отсутствовала семь часов. А ей казалось: от силы часа три. Не больше.

— Спокойной ночи, — растерянно пожелала Романова и скрылась.

«Ищет», — догадалась тетка. Она была воистину инженером человеческих душ, хоть и не имела к искусству никакого отношения. У нее было свое искусство.

Романова постучала в номер рядом.

Дверь распахнулась. В номере сидели Юкин, Стелла и Надя Костина. Классический треугольник: Стелла — вершина треугольника, а Юкин и Надя — в основании. Они пили, закусывали орехами, и в номере был беспорядок, доведенный до той степени, которая называется «бардак».

— Заходи, — пригласила Надя.

— Спасибо. Потом.

Романова захлопнула перед собой дверь и ушла в другой конец коридора. Она боялась, что компания выбежит и затащит ее в этот мусор и дым и бредовые мысли.

На другом конце тоже были двери. Романова сунулась в одну из них и увидела Лашу. Он лежал под одеялом и слушал музыку из репродуктора. В итальянских гостиницах предлагается три музыкальных канала: современный тяжелый рок — для молодежи, нежные мелодии ретро — для старичков и классическая музыка — для интеллектуалов. Для высоколобых.

Лаша выбрал ретро. Высокий тенор сладко летал над Лашей.

— Ой, — сказала Романова и дернулась обратно.

— Не уходи, — грустно попросил Лаша.

Романова задержалась в дверях.

— Сядь.

— Нет. Я постою.

— Ты счастлива? — неожиданно спросил Лаша.

— Вообще? Или здесь? — уточнила Романова.

— Здесь. И вообще.

— Не знаю, — честно сказала она.

— А можешь быть счастлива?

— Не знаю.

— Разве это не от тебя зависит?

— Не только.

— А по-моему, от человека все зависит.

Романова задумалась. Что она может дать Раскольникову? Свои тридцать семь лет, талант и дочь Нину. 37 лет — возраст хороший, но впереди мало молодости. Нина — девочка хорошая, но чужая. Не его. И талант — тоже субстанция спорная. Он отвлекает, тянет на себя и, значит, отбирает Романову от других людей, и от Раскольникова в том числе. Он будет одинок рядом с ней.

— Почему ты молчишь? — спросил Лаша.

— Счастье — не только брать. Но и давать. А что я могу дать другому человеку?

— Себя, — сказал Лаша.

— Ты думаешь, этого хватит?

— Смотря кому.

— Вот именно.

Помолчали. Лаша подумал, что Романова нуждается в его поддержке. Он должен сказать «мне бы хватило». Но это — неполная правда. Часть правды. Он хотел Романову сейчас, в одиннадцать часов, в отеле, в Риме. А что будет через месяц в это же время в Москве — он не знал. Но ему казалось, что Романова ждет. Что она пришла не случайно.

— Я не знаю, влюблен я или люблю. Я это узнаю только в Москве, — честно сказал он. — На расстоянии. Поэтому я сейчас не хочу выпускать зверя.

— Какого зверя? — не поняла Романова.

— И у меня изжога, — добавил Лаша.

— У Раскольникова тоже плохо с желудком. Ты не знаешь, в каком он номере?

— Кто?

— Минаев... — поправила себя Романова.

— Не знаю, — обиделся Лаша.

Оказывается, она ищет этого дистрофика Минаева, а в его звере не нуждается, и ей как-то все равно: выпустит он его или нет. И куда.

— Спокойной ночи, — пожелала Романова.

Вышла в коридор. Мимо прошел Руководитель с большой коробкой в руках. В отличие от остальных у него была валюта, и он покупал на нее фужеры из флорентийского стекла. Фужеры были уложены в коробки, на которых изображалась рюмочка.

Руководитель смутился, будто его руку застали в чужом кармане. Романова тоже смутилась. Ей казалось, Руководитель догадывается, зачем она здесь стоит.

Романовой стала оскорбительна ее миссия: бегать по номерам, искать методом тыка. Почему она это делает, а не он? Кто из них двоих женщина?

Романова взяла ключ у портье и поднялась к себе в номер на втором этаже.

Кровати стояли не рядом, а в разных концах комнаты. Большая удача.

Романова легла и закрыла глаза, заставляя себя заснуть. Ей хотелось как можно скорее перескочить через эту ночь в новый день. Увидеть. И сказать «здравствуй». И заглянуть в глаза. И понять: как он переставил шахматные фигуры. Кто она теперь: королева, ладья или пешка.

Она увидела его за завтраком. Подавали то, что называется «пти дежене» — маленький завтрак. Свежие хрустящие булочки-круассаны, джем, масло, сыр, благоухающий кофе.

Группа сидела за общим столом. Двоеженец Лева пребывал в замечательном настроении: он шутил, развлекал всех, и его доброжелательность, как сигаретный дым, наполняла помещение и вдыхалась каждым.

Раскольников изменился. Романова увидела его сразу, еще в дверях. Он как-то затвердел и удалился. Удалился ото всех. Вполз, как улитка в панцирь.

— Привет! — радостно поздоровалась Романова и села рядом. Возле него стоял свободный стул. Это был стул для Романовой, и его никто не занимал.

Раскольников не отозвался на привет. Даже не повернул головы. Его не было, хотя он сидел рядом. Романова потрясла за рукав, но он не качнулся. Не отвечал — ни на слова, ни на жест.

«Обиделся», — поняла Романова. Она измучила его разлукой. Значит, скучал. Значит, большое чувство. Иначе откуда такое затвердение? Романова решила не дергать его на людях, а поговорить при удобном случае. Сказать, что она страдала так же, не меньше. Что не может без него жить. Что согласна. На что? На все.

* * *

Случай представился в Ватикане.

Ватикан — музей. Романова — художник. Она не просто смотрит. Она — ВИДИТ. Но сейчас она видит только профиль Раскольникова. Медный голос объявил через микрофон:

— Давайте помолчим и в полной тишине воспримем творение человеческого гения.

Голос шел откуда-то сверху, как с небес, из ада, куда сыпались голые мужчины с полотна Микеланджело. Вокруг установилась тишина благоговения.

— В чем дело? — спросила Романова в полной тишине. — Что происходит?

На нее обернулись.

— Мы должны расстаться, — коротко ответил Раскольников, глядя перед собой. — Со временем я тебя найду.

«С каким временем?» — растерянно подумала Романова. Она минуты без него не может. Мечется, как в бреду. Жизнь без него — бред.

— Почему расстаться?

— Я сделал выбор.

— А зачем выбирать? Пусть у тебя будут две.

Она хочет его ВСЕГО. ВСЕГДА. Но если это невозможно, то пусть урывками, по кускам. Как угодно. Она будет жить ожиданием. Это будет ЖИЗНЬ. А без него — НЕ ЖИЗНЬ. Хуже, чем смерть. Потому что смерть — это отсутствие всего, и страданий в том числе. А без него — страдания, ежедневные, ежеминутные.

Они куда-то шли по пролетам Ватикана. Шагали.

— Пусть у тебя будут две, — повторила она, внушая, вколачивая в него эту идею.

— Ты ничего не понимаешь, — сказал Раскольников, не останавливаясь и не глядя.

Пусть не понимает. Но что же делать? Она же не может вот тут прямо заплакать, чтобы все видели. Видели, а вечером обсудили. И привезли в Москву, и всем бы рассказали — по телефону и в личной беседе. Жизнь скучна, люди рады новостям.

— Я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были неприятности.

Эта фраза — как веревка, брошенная утопающему. Романова тут же ухватилась за веревку.

— А я хочу!

Пусть будут неприятности: разрыв с семьей, потеря привычного бытия. Но только рядом. Неприятности с НИМ. Лучше, чем блага без него.

— Ну хорошо, — мрачно согласился Раскольников. — Будут.

Группа влезла в автобус. Автобус отправлялся на следующую экскурсию. В Колизей.

Романова подошла к Руководителю.

— У меня встреча с подругой. Высадите меня возле гостиницы, — попросила она.

— Вы уже встречались с подругой, — заметила тетка с кудельками.

— Мы обедали. А теперь идем платье покупать, — как школьница отчитывалась Романова.

— Вам платье важнее памятника старины?

— Ей подруга важнее, — сухо сказал Руководитель. — Идите.

— Спасибо, — оробело поблагодарила Романова.

За теткой стояла какая-то сила, а Романова боялась силы, как боялась, например, бандитов и быков. Тетка — то и другое, хоть и с кудельками и крашеными губами. Бык с кудельками и крашеными губами.

Автобус остановился возле гостиницы.

— Я плохо себя чувствую, — сказал Раскольников Руководителю. — Я пойду полежу.

— Идите, идите, — отпустила тетка.

Она давно заметила, что Минаев ничего не ест, у него открылась язва и может быть прободение, внутреннее кровотечение, а значит, срочная операция в западной клинике. Пусть полежит в номере, дотянет еще четыре дня и вернется в Москву. А в Москве за него никто не отвечает, кроме здравоохранения. Но это уже не ее забота.

— Идите, — повторила тетка, боясь, что Минаев передумает и продолжит экскурсию.

Дверь автобуса разомкнулась. Раскольников сошел первым и подал руку Романовой.

Автобус двинулся дальше. Туристы смотрели на них из окна. И, как казалось Романовой, все понимали, зачем они остались и чем сейчас займутся.

— Неудобно, — сказала Романова.

— Перед кем? Кто тебя волнует? Кэгэбешница? Или пьяница Юкин?

Романова не ответила.

— Пойдем. — Он взял ее за руку. — Пойдем ко мне.

— Почему к тебе?

В своем номере она была как бы дома и чувствовала себя увереннее. Но он уже вел ее к себе, в конец коридора. Именно отсюда она вчера ушла, от этой двери.

Вошли в номер. Потолок был высокий. Окно большое. Стены белые. Как больничная палата в сумасшедшем доме.

— Давай прощаться...

Все-таки прощаться. Все-таки он ее не выбрал. И не хочет, чтобы у него было две.

Он обнял, стал целовать ее лицо торопливыми поверхностными поцелуями, как будто старался охватить как можно больше площади. Целовал лицо, волосы, плечи, руки... В этом было что-то нервное и странное. Так не целуют, когда хотят овладеть. Так целуют перед самоубийством.

— Что с тобой? — отпрянула Романова.

— Я ухожу.

— Из жизни?

— Может быть, из жизни.

— Из-за меня?

— Да при чем тут ты... Я сделал выбор. Я ухожу просить политического убежища. В американское посольство.

Романова осела на кровать. У нее отвисла челюсть — в прямом смысле этого слова. Видимо, организм реагирует на внезапность определенным образом, ослабевают связки, и челюсть отваливается вниз.

— Закрой рот, — сказал он и пошел к шкафу.

Снял со шкафа дорожную сумку, стал наполнять ее, запихивать необходимое. Среди прочего — путеводитель по Италии. Вот зачем он его взял. Значит, еще в Москве вынашивал это решение. И она, Романова, действительно ни при чем. И это было самое обидное, как пощечина.

Как две пощечины: слева и справа. Утрата и предательство. Он выбирал не между двумя женщинами, как ей казалось. А между двумя странами. А она, Романова, тут вообще ни при чем.

Он вытащил из-под кровати чемодан, засунул в сумку кое-что из чемодана. На дне остались пара белья и две бутылки водки. Это он оставил для конспирации. Чтобы не сразу хватились. Заглянули бы в чемодан, а там не пусто. Значит, вернется. Не уйдет же человек без водки и без трусов.

Почему-то именно эти катающиеся бутылки и комочки белья вывели Романову из шока, вернули в реальность.

— Ну ладно, — сказала она. — Я ни при чем. Но есть ведь другие люди. Вся наша группа. Каждый дожил до СВОЕЙ Италии. Платил большие деньги.

— Я о сыне не думаю, а должен думать о твоем Богданове...

Он говорил жестко. Потому что он — решил. Все это время он мучился, а вчера, в ее отсутствие, — принял решение. Романова поняла, почему он утром затвердел и удалился. Он порвал с группой все связи, как труп порывает все связи с жизнью. Поэтому он твердеет и удаляется.

Раскольников сбегал, а значит, совершал преступление. И обратная дорога ему заказана. Его дорога в один конец. Как в смерть.

— Мне страшно за тебя, — сказала она. — Куда ты денешься?

— Не знаю. Денусь куда-нибудь. Я не сюда ухожу. Понимаешь? Я ухожу ОТТУДА.

Сумка была забита и тяжела для его легкого тела.

— Может, передать что-то твоим... записку или на словах...

— Не надо. Я сам найду возможность.

Такие вещи не передают через третье лицо. Надо позвонить самому и сказать: «Я предал вас, как Иуда Христа. Мне тяжело. Я, может быть, повешусь. Но это не меняет дела. Я предал вас».

Это совсем другое, если позвонит Романова и скажет: «Он предал вас».

— Ну... все. — Он повернулся. Пошел к двери.

Романова сделала внутренний рывок и как бы отделилась от себя прежней — влюбленной и зависимой. В ней сработала ВЫСШАЯ любовь, освобожденная от эгоизма, — самоотречение материнства. Она хотела сохранить его не для себя. Просто сохранить. Для него самого.

Сейчас он как ребенок, который стоит на подоконнике шестнадцатого этажа. Не ведает, что творит. Окно раскрыто. Шагнет — и исчезнет. Но есть еще несколько секунд. Их можно использовать.

— Подожди!

Он обернулся.

— За мной сейчас заедет подруга. Она живет в Италии. Посоветуешься. Может быть, она поможет тебе как-то...

Раскольников опустил глаза в пол. Раздумывал. Он ведь не знает подругу. Может, она тоже работает на КГБ. Он и Романову толком не знал. Они знакомы четыре дня поездки.

— Пойдем! — Романова поднялась с кровати. Властно взяла за руку. Повела за собой на улицу. Раскольников шел следом, в его лице и поступи читалось сомнение.

Машина уже стояла у входа. За рулем сидела Маша.

Она высунулась и спросила с возмущением:

— Ну кто так опаздывает в Италии?

Оказывается, было уже половина пятого. Мало того что Маша собиралась тратить деньги на платье и время на его поиски, она еще тратила энергию на унизительное ожидание.

Романова залезла в машину. Раскольников опустился рядом на сиденье. Он сидел рядом, но далеко. Как труп близкого человека. Романова испытывала связь и отчуждение одновременно. Как живое с неживым.

— Представляешь! — с возбуждением объявила Романова. — Он решил сбежать! Собрался. Идет просить убежища...

Для шутки это звучало жутковато. Маша поняла: не шутка. Раскольникова покоробило. Он промолчал.

— Маша, — представилась Маша, будто не слышала предыдущей фразы.

— Леонид Минаев, — глухо представился Раскольников.

Романову познабливало. Она испытывала странное состояние: смесь реальности с вымыслом. Все смешивалось, как в мозгах сумасшедшего.

Маша остановила машину возле кафе. Столики и стулья из плетеной пластмассы стояли прямо на площади.

— Сядьте, — строго, как учительница, приказала Маша.

Раскольников сел за столик. Маша была красивая, но чужеродная. Она была ему не нужна. И это времяпрепровождение в кафе — тоже не нужно. Он шел к цели, а остальное — Маша, Романова, кафе, разговоры — это препятствия, которые надо обойти.

— Слушайте меня внимательно, — приказала Маша.

Раскольников воздел свои глаза и смотрел безо всякого смятения.

— Ничего не бывает просто так, — убежденно начала Маша. — Значит, не случайно вы попали с Катей в одну группу. Не случайно Катя привела вас в мою машину. Не случайно мы здесь сидим. На этой площади. Вы — на пороге перемены жизни. Провидение Господне МОИМИ УСТАМИ говорит вам: НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО.

— Но я не хочу жить с большевиками. Я их ненавижу.

— Значит, надо нормально, легально уехать.

— Как? Я не еврей.

— Жениться, пусть фиктивно. Я привезу вам жену. Я обещаю.

— Я не хочу ждать, терять время. Мне некогда. Мне уже тридцать три года, — сказал Раскольников.

— А как вы собираетесь зарабатывать на жизнь? Вы умеете писать на чужом языке? Вы умеете думать на чужом языке? Учтите, русский не нужен никому.

— Я могу дворы подметать.

— Все метлы розданы, — жестко отрезала Маша. Как будто метлы зависели от нее.

Романова с испугом переводила глаза с одного на другого.

— И учтите, — продолжала Маша. — Когда вы придете к американцам просить убежища, они вас выдадут. У посольских людей есть договоренность. Вы не представляете для американцев никакого интереса. Они вас отдадут своим. А свои — в самолет и в Москву. С сопровождением. А у трапа самолета уже будет ждать «скорая» — и в психушку. И все дела. Очень просто.

Нависла пауза. У Романовой заледенела кровь. Ничего не надо — ни любви, ни счастья, ни победы над Востряковой — только бы не психушка. Он и в самом деле сойдет с ума. Ему немного надо.

— Леня! — взмолилась Романова. Она вдруг вспомнила, как его зовут. — Леня, подумайте! Я клянусь вам, я никому не расскажу. И если хотите, я даже не подойду к вам больше.

Романова незаметно для себя перешла на вы. Это «вы» было как бы началом отчуждения. Они едва знакомы. А если надо — то и вовсе не знакомы.

— Вы посидите один, за столом, в автобусе. Обдумаете все хорошенько. А в последний день — решите. Захотите — уйдете. Или останетесь...

Романовой казалось: если она потянет время, она выиграет.

Если ребенок стоит на краю и есть несколько секунд, то можно, подкравшись сзади, схватить его за плечи и сдернуть с подоконника. Пусть он испугается и даже ушибется. Но будет жив.

— Леня. — Романова нашла его зрачки и через них стала стучаться в душу. — Леня... Пожалуйста...

— Ну хорошо, — сухо сказал Раскольников. Он не открыл дверь в свою душу и сказал это как бы из-за двери. — Хорошо... ВСЕ.

Романова выдохнула напряжение. Расслабилась. В ней все осело, как весенний снег.

Маша заказала мороженое с живыми ягодами.

Маленький оркестрик запел песню. Оркестрик состоял из двоих: мандолина и аккордеон.

Эта песня была известна в России. Но по-итальянски она звучала иначе, и чувствовалось, что итальянские слова гармонично сплетаются с мелодией, а русские — не гармонично.

Романова сидела в блаженном каком-то состоянии, как после родов, после боли и опасности. Внимала песне, и эта песня проникала в самые кости и отзывалась в них. Включился художник. Независимо от Романовой начинало работать воображение — она мысленно накидывала на холст: два музыканта с черными усами, треугольник мандолины,

квадрат аккордеона, рты в форме буквы «о», страждущий профиль человека с крылом песчаных волос и две распростертых руки Романовой. Надо всем — руки, руки, руки...

Хорошо можно написать только то, что прошло через тебя. Прошло насквозь. Через сердце. Навылет.

— Боже мой... — с тоской сказала Романова. — Как я когда-нибудь это напишу...

— Все вы такие... эгоисты и сволочи, — неожиданно заключила Маша. — Все самое ценное бросаете в костер.

Романова догадалась: «вы» — это Антонио. Ее муж. Журналист. Не считается ни с чем во имя своей профессии. Все самое ценное — в костер. И Маша — в костер.

— Но мы же не для себя, — сказала Романова. — Мы жжем костер для людей. Чтобы грелись.

— Вот именно, что для себя. На других вам плевать.

Маша тоже недовольна жизнью, но скрывает от соотечественников. Никто не счастлив. И нигде.

— А до каких часов работают магазины? — спохватилась Романова.

Маша посмотрела на часы:

— У нас еще есть полчаса.

— Пойдешь с нами? — Романова обернулась к Раскольникову.

— Нет. Я не люблю магазины. Я вас здесь подожду.

— Мы быстро. Туда и обратно. А то я с твоими перемещениями без платья останусь.

Он промолчал.

«Обиделся, — подумала Романова. — И черт с тобой». Он вдруг надоел ей сильно и мгновенно, как головная боль. Захотелось встать и уйти, и купить новое шикарное платье, и зашагать в нем по Италии, как хозяйка жизни, а не раба любви. Жертва чужой авантюры...

Времени было мало, нервы издерганы, поэтому Маша и Романова спешили, нервничали, мерили, снимали, опять мерили и судорожно стаскивали через голову одно платье за другим. Лавочка была маленькая, примерочная тесная, и все кончилось тем, что купили дорогое платье — дороже, чем планировала Маша. От этого настроение у нее упало. И когда вышли из лавочки — обе молчали, переживая второй шок за сегодняшний день.

Своих денег у Маши не было, значит, она залезала в карман мужа и, значит, придется объясняться. Антонио — жаден до тошноты, и разборка займет неделю.

— Я в Москве отнесу деньги твоей маме, — сказала Романова.

Она шла в новом платье, почти таком же, как у хозяйки ресторана, а старое несла в пакете. Она хотела поразить Раскольникова. Он увидит ее в новом платье и скажет: «Я не собирался любить тебя, это не входило в план. Но я влюбился. И поэтому я остаюсь. Я остался только из-за тебя...»

Маша подумала с удовлетворением, что она не потеряла деньги, а как бы перераспределила капитал, сделала подарок своей маме. Она ведь должна помогать маме, живущей в социализме и дефиците, а попросту — в нищете. Но Антонио безразлично, куда уходят деньги —

на подругу или на маму. Они УХОДЯТ от него и машут на прощание рукой.

— Как ты думаешь, он не сбежал? — заподозрила Романова.

— Да нет. Он струсит. Он трус.

— Почему? — удивилась Романова.

Сбежать в чужой стране — поступок почти героический.

— Если решил уйти, зачем тебе сказал? Зачем он на тебя это повесил?

— А зачем?

— Чтобы не тащить одному. Это — тяжесть. А вдвоем легче.

Маша помолчала, потом добавила:

— Все они эгоисты и сволочи.

Вышли на площадь. Раскольникова не было.

— Ушел, — сказала Романова. В ней все рухнуло.

— Он в гостинице, — убежденно возразила Маша. — Спать лег.

По площади летали голуби. Индусы продавали свою продукцию, которая была разложена прямо на асфальте: платья, бусы, фигурки из сандалового дерева.

Между людьми и платьями ходил наркоман, курил свою наркоманскую самокрутку, жадно затягиваясь. Он был в кожаном пальто, надетом на голое тело, длинноволосый блондин, отдаленно похожий на Раскольникова, но красивее. Крупнее. Просто красавец.

«А где его мама?» — подумала Романова. Все заблудшие люди казались ей детьми.

В середине площади странный парень в набедренной повязке выполнял йоговские упражнения, складываясь и разгибаясь, как гуттаперчевый мальчик. Глаза его смотрели странно, казалось, видели другое, чем все, — и Романова поняла, что он тоже под кайфом, под мощной дозой.

Возле собора спиной к стене сидели трое нищих: старушка, женщина и девочка. Бабушка, дочка и внучка. Три поколения.

— Пусть у нас тоталитарный режим, — сказала Романова. — Но нищие так не сидят и наркоманы не разгуливают.

— У нас есть ВСЕ, — сказала Маша. — И нищие. И наркоманы. И гении.

— Я вернусь в гостиницу, — решила Романова.

— Пойдем поужинаем, — предложила Маша. — От того, вернешься ты или нет, ничего не изменится.

Маша потратила большие деньги на платье. А теперь готова платить за ужин. Все равно разборка. Все равно терпеть. Семь бед — один ответ. Антонио дал ей много: себя в свои сорок лет, Италию, Рим. Точку на горе с серебряной зеленью шатра и терракотом черепицы. Но Антонио обладал талантом сунуть ложку дегтя в бочку меда, и уже не нужен тебе этот мед, воняющий дегтем. И что толку от этой бочки... Но Маша давно заметила — за все приходится платить. Как за платье. И чем больше получаешь, тем дороже плата.

Ресторанчик — шумный, тесный, стилизованный под кабачок. Люди сидели на простых лавках.

Маша подняла тарелку с рыбой к носу. Не опустила голову к столу, а подняла тарелку. Это почему-то запомнилось.

— Ты что нюхаешь? — удивилась Романова. — Не доверяешь?

— Просто так, — не ответила Маша.

Она не доверяла никому и ничему. На всякий случай.

Богданов сидел на своей кровати и рассматривал книгу, которую удалось купить сегодня, — Бердяев. Бердяев смотрел с обложки: черный берет, острая бородка и особое выражение лица, которого совершенно не бывает на современных лицах. Современные лица отражают все, что угодно, кроме покоя.

Вот еще одно современное лицо: Катя Романова. Ворвалась, как будто за ней гонятся сорок собак.

Катя смотрела на пустую кровать Раскольникова. На чемодан — он слегка выдвинут, именно так, как был оставлен. Значит, Раскольников не возвращался.

— Простите... А где Леня?

— А разве он не с вами? — простодушно удивился Богданов. — Я думал, что вы не расстаетесь...

— До свидания, — тускло попрощалась Катя.

У нее был такой вид, как будто собаки догнали ее и растерзали. Растащили по кускам. Романова поднялась в свой номер, на свой второй этаж. Сняла новое платье. Легла. Руки и ноги стали ледяные, видимо, сердце плохо толкало кровь.

Надя Костина укладывала чемодан. Завтра утром переезд в другой город. «Куда мы едем? — напряглась

Романова. Заболела голова. — В Геную, кажется. А может, и не в Геную». Теперь уже все равно. Ее путешествие кончилось.

Русская зима. Крутая гора. Романова на детских санках съезжает с горы. Стремительное скольжение. Дух захватывает от восторга. И вдруг впереди явственно видит прорубь с зеленоватой водой. Санки несет прямо в прорубь. Ничего нельзя сделать. Сейчас она утонет. Осознание смерти за несколько секунд до смерти...

Зазвенел телефон. Романова спохватилась. Никакой проруби. Номер в отеле. Рим. Италия. Раскольников ушел.

— А... — сказала Романова в трубку.

— Катя, вы извините. — Узнала голос Руководителя. — Пропал Леня Минаев. Вы последняя, кто видел его...

Руководитель ждал, что она начнет говорить, но Романова молчала. Выжидала. Да. Последняя. И что с того?

— Вы не знаете, куда он пошел из гостиницы? Он вам ничего не говорил?

— Он говорил, что хочет купить пишущую машинку, — соврала Романова.

— Да... У него были деньги...

— Я встречалась с подругой. Мы купили платье. Потом сидели в ресторане.

Романова поймала себя на том, что отчитывается.

— Мы ели рыбу...

— Да, да, спасибо, — поблагодарил Руководитель. Что делала Романова — ела, пила, — все это его не интересовало. Она интересовала его только в паре с Минаевым, а не сама по себе. — Спокойной ночи, — попрощался Руководитель.

Романова положила трубку. Четыре часа утра. А Руководитель еще не знает. Значит, и посольство не знает, иначе бы сообщили. Значит, не перехватили. УШЕЛ.

— Кто это звонил? — спросила Надя Костина.

— Минаева ищут. Он не вернулся в гостиницу.

— В бардак пошел, — с уверенностью сказала Нина. — В публичный дом. У него есть деньги в отличие от нас всех.

— А откуда?

— У него в Италии пьеса идет. И во Франции.

— Какая пьеса? — оторопела Романова.

— Какая-то... Авангард...

— Он что, выдающийся?

— Ну не знаю насчет выдающийся... Но любопытный парень. С перевернутыми мозгами. И не только...

— Что ты имеешь в виду?

— Из-за него Нинка Шацкая вены резала.

— Вострякова, — поправила Романова.

— Да нет. Вострякова беременная. Нинка — другая история. У него этих баб как вшей на покойнике.

— А кого он любил? — спросила Романова.

— Никого. Себя. Для него люди — мусор. И вообще все мужики — предатели и проститутки, — подытожила Надя.

— А у тебя были мужчины? — осторожно спросила Романова.

— Был, — сухо ответила Надя в единственном числе.

Романова догадалась, что Надин бешеный рывок к счастью тоже окончился оплеухой и она не захотела повторять и множить плохой опыт. В отличие от всех остальных женщин.

Часы показывали пять утра. Романова боялась бодрствовать, болела пустота, которую оставил после себя Раскольников. И боялась заснуть, увидеть зеленую прорубь...

Утром все стало определенным.

В шесть часов по римскому времени руководителя делегации вызвали по телефону в советское посольство и некто, в чине генерала, так на него орал, что охрип. Сорвал голос.

Генерал в живописи не разбирался. Ему было плевать, кто такой Руководитель: народный, заслуженный, гордость маленькой нации... Для генерала было главным то, что не УГЛЯДЕЛ. Его послали, заплатили, да, да, заплатили валютой не для того, чтобы покупал себе флорентийское стекло...

Руководитель оробел. На него по крайней мере лет тридцать никто не орал, а только славословили и давали ордена.

Он вернулся в гостиницу бледный и все утро глотал таблетки валидола. О сне не могло быть и речи. «Сволочь какая», — думал Руководитель, непонятно о ком: о генерале или о Минаеве. А скорее всего о том и другом.

В девять часов автобус отходил в Геную.

Руководитель вошел в автобус и объявил о случившемся. Торжественно, как на панихиде. Романова не слышала, как именно он сформулировал. Она вошла при общем молчании. Только старушка громко сказала:

— Сволочь какая...

Но это относилось не к ней, а к Минаеву. Романова села на привычное место, в третьем ряду от конца. Стала смотреть на улицу.

— В его чемодане остались две бутылки водки, — сообщил Богданов.

— Давайте их сюда, — расторопно велел Руководитель. — Отдадим шоферу автобуса. Как сувенир.

Руководитель уже освоился в новой обстановке. «Отряд не заметил потери бойца и «Яблочко»-песню допел до конца». Туристическое путешествие продолжалось.

Автобус тронулся. Говорили мало. Каждый думал свою думу.

Романова — о том, что у Раскольникова открылась язва, что ему надо есть все отварное и несоленое. Но кто ему отварит и подаст? Кому он нужен? Язва может дать прободение желудка, он упадет. Итальянцы будут его обходить, подумают, что наркоман...

Она вспомнила лица итальянцев, глазеющих на гуттаперчевого йога. Он свивался в узел, достигал совершенства гибкости тканей и суставов. А мог бы сломаться и упасть, и у людей не изменились бы лица. Это было одно глазеющее рыло итальянского мещанства. А мещанство — везде одинаково.

Надя Костина думала: если бы не парализованная мать, ее бы только видели... Здесь сексуальные меньшинства имеют свои клубы и кафе. Можно полноценно собираться и не выглядеть белой вороной.

Лаша то поднимал, то опускал брови. Он недоумевал: какие есть бессовестные люди. Бросить родственников, отца, мать, детей — и не просто бросить, а кинуть на ржавый гвоздь. Кто примет таких детей в институт? Кто возьмет таких жен на работу? Пусть даже у Минаева будет дом из белого мрамора, и такая лампа, и даже такая женщина, как на фотодекламе. Но он, Лаша, подавился бы этим всем, если бы знал, что его мать и дети в это время плачут и давятся от слез...

Михайлов припомнил, что Минаеву 33 года. А ему, Михайлову, 48. Плюс пятнадцать. Но именно плюс пятнадцать решают все дело. Поздно. Его поезд ушел. Надо дожить, как жил. Долюбить то, что дано.

Двоеженец Лева завидовал. Не тому, что Минаев сбежал. А тому, что способен на поступок. На риск. Кто не рискует, тот не выигрывает. Он, Лева, не способен на поступок. На рывок. И поэтому стоит на месте, и его засасывает, засасывает, и скоро чавкнет над макушкой.

Старушке было плевать на Минаева. Но не плевать на последствия. Группу могут наказать за отсутствие бдительности и лишить следующих поездок. Официально разрешается ездить раз в три года. Значит, теперь могут выпустить только через шесть и даже через девять лет. А девять лет в ее возрасте — это такой срок, когда планов не строят.

— Сволочь какая, — повторила старуха. И опять было непонятно, кого она имеет в виду, ибо слово «сволочь» женского рода, производное от глагола «волочить». Это то, что сволочено в одно место бороной с пашни: сор, бурьян, сухая трава...

Юкин не думал ни о чем. Он хотел спать и клал голову Стелле на плечо.

А Стелла размышляла: были бы деньги — сбежать с Юкиным и любить его в доме с бассейном. Нарожать красивых детей. К детям — няньку. К обеду — плоды авокадо, гуайява, киви и папайя. И солнце десять месяцев в году.

На лице Стеллы стояла нежная мечтательная улыбка, которая ей очень шла.

Автобус сделал стоянку на автозаправке. Все вышли поразмяться.

— Я знала, что у него есть деньги, — возбужденно говорила «настройщица», — но он все время крутился возле Романовой, я думала, Романова его растрясет...

— Как растрясет? — спросил Богданов.

— Ну, заставит потратиться. Непонятно?

— А зачем? — не понял наивный Богданов.

Он действительно не понимал, что в том кругу, где вращается эта женщина, главным мерилом отношений являются деньги. Как в капиталистической экономике. Нравится — плати.

У Романовой было конкретное воображение: она представила себе Раскольникова, которого приподняла за шиворот и трясет, и из него сыплются монеты и со звоном ударяются о мостовую.

Романова отошла. Ей стало противно, что ее хрупкое, чистое, живое чувство трогают грязными руками. Ей было жаль своего чувства, как новорожденного ребенка, которого бросили. А он уже живой. Уже человек.

Романова погрузилась в тоску. На самое дно. И больше ничего не видела вокруг себя. И запомнила както смутно. Автобус шел и останавливался, где-то они слезали и рассматривали развалины старого публичного дома с остатками фресок. Фрески имели скабрезное содержание, но выполнены с юмором. Значит, карикатура существовала еще тогда.

Потом было море. Морское побережье. Все бросились купаться. Летели морские брызги, и смех, как брызги.

Романова лежала на берегу, в плаще, с закрытыми глазами. Воняло мазутом. Она легла возле какого-то гаража. И когда потом поднялась, увидела, что ее плащ запачкан мазутом.

Из волн выходила большая белая Стелла. Возле нее Юкин — в брызгах и в больших зеленых глазах. Он подхватывал ее на руки, и уносил снова в море, и сбрасывал там, как тяжесть. Они были молоды, счастливы и не скрывали ни того, ни другого. Ни третьего.

После поступка Раскольникова-Минаева уже никто ничего не скрывал. Он как будто снял все условности и запреты. Заразил микробом вседозволенности.

С группой что-то случилось. Все пошло вразнос.

Строгие музейные дамы выбрали себе кавалеров и — как на войне. Однова живем. Завязавшие алкоголики —

развязали. Вошли в штопор. Шел пир во время чумы. Группа советских туристов превратилась в табор.

Романова ни в чем не участвовала. Она тосковала. Раскольников ушел, вырвал с мясом кусок души, и на месте отрыва текла кровь. И болело. Однажды отвлеклась от боли и увидела себя на пароходике. Группа направлялась на остров Капри. Юкин держал большой венок из еловых веток с натуральными красными гвоздиками, вделанными в хвою.

— Что это? — спросила Романова.

— На могилу возложить.

— Кому?

— Ленину, кому же еще...

В программу входило возложение венка.

Юкин был пьян и все время норовил лечь на венок. И улегся в конце концов. И заснул. Надя Костина растянулась рядом.

Итальянцы показывали пальцами и говорили одно слово:

— То-ва-ри-щи...

Говорили по слогам, потому что сразу было трудно произнести.

Памятник Ленину виднелся с берега. Его профиль был высечен на белой колонне, и Ленин мало походил на самого себя. Возможно, местному скульптору дали только словесный портрет: профиль, лысина и борода.

Когда сходили с пароходика, Богданов подал Романовой руку.

— Не трогай ее за руку, — предупредил двоеженец. — Останешься...

— Почему? — не понял Богданов.

— А ты думаешь, почему Минаев сбежал?

— А почему?

— Влюбился и сбежал.

— Если бы влюбился, не сбежал, — откомментировала Надя Костина. — Или хотя бы предупредил: дескать, «не жди».

— А может, и предупредил, — не выдержала Романова.

Самолюбие победило здравый смысл.

Лаша округлил глаза:

— А что же ты нам не сказала?

— Все на экскурсию ехали. Где я вас возьму?

— Все равно. Надо было предупредить, — заметила старушка аккуратным голоском.

Романова поняла, что сделала нечто крайне опрометчивое. Но слово не воробей... Оно уже вылетело. И взвилось в высоту.

Романова испытала томление под ложечкой, как будто оттолкнулась на санках с горы и заскользила вниз. Куда? А черт его знает. Может быть, там в конце концов прорубь с зеленой водой...

Теперь к чувству боли примешивался СТРАХ. Мысли заметались, как мышь в уборной. Какой выход?

Романова сообразила, что Руководителю доложат. Возможно, уже доложили. И будет лучше, если он все узнает ОТ НЕЕ.

Группа шла по тропинкам острова Капри.

Экскурсовод показывал дом, где жил Горький. Здесь жил Горький, и его друзья, и семья, и очаровательная

невестка Тимоша, в которую все были влюблены. Зачем Горький послушал Сталина и вернулся?

Романова подошла к Руководителю и тронула его за рукав:

— Мне надо с вами поговорить.

И рассказала от начала до конца, включая отвисшую челюсть, подругу Машу. Провидение Господне, розданные метлы, двух музыкантов и двух наркоманов.

Романова говорила, говорила и чувствовала, как исторгающиеся слова облегчают не только душу, но и плоть. Было тяжело, как будто заглотнула камень. А теперь этот камень дробился и высыпался песком.

Романова закончила. Руководитель молчал. Потом спросил·

— Вы кому-нибудь это говорили?

— Да.

— Кому?

— Всем.

— Так...

Тропинка вилась в гору. Идти было тяжело.

— Я виновата в том, что не предупредила? — прямо спросила Романова.

— Почему? Предупреждать — это вовсе не ваша функция. Вы турист. Ваша задача — видеть и познавать. А не предупреждать.

— Вот именно, — обрадовалась Романова.

Руководитель остановился. Смотрел по сторонам. Они стояли на высоком холме. Внизу море выпирало боком, и было заметно, что Земля в этом месте закругляется.

— В тридцать седьмом меня посадили, — сказал Руководитель. — Я сидел в камере с одним паханом. Он меня учил: то, что ты не скажешь, прокурор никогда не узнает. Все, что он может узнать, — только от тебя.

Руководитель давал совет: молчи.

— Меня посадят? — тихо спросила Романова.

— Посадить не посадят, но кислород могут перекрыть.

Перекрыть кислород — значит не давать работу. Не печатать. Забыть. Была такая художница и больше нет.

Именно об этом предупреждал Раскольников, уходя: «Я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были неприятности».

«А я хочу!»

«Будут».

Теперь можно сказать: есть.

Рим. Последний день

— Ну? — спросила Маша.

— Сбежал...

— Так... Ты кому-нибудь сказала?

— Сказала, — упавшим голосом ответила Романова.

— А про меня?

— И про тебя.

Наступила тишина. Романова подумала, что телефон отключился, и подула в трубку.

— Не дуй. Я здесь, — отозвалась Маша. — Ты что, не понимаешь, что меня теперь не выпустят в Москву к матери?

Романова тяжело замолчала.

Если разобраться: человек захотел жить и работать в чужой стране. Почему Гоголь мог прожить в Италии восемь лет? И Ленин, в конце концов, сочинял революцию в Швейцарии. Почему им можно? А Раскольникову нельзя? Почему он должен удирать, будто прыгать с пятого этажа? И почему теперь все должны это расхлебывать?

— А ты-то при чем? — спросила Романова.

— А при том, что я должна была заявить. А я не заявила.

— Почему мы все должны быть доносчиками? Разве у них нет для этого специальных людей? Почему мы все поголовно должны стучать друг на друга?

— Ты где живешь? — спросила Маша.

Этот же вопрос задавал Раскольников. Как на него ответить? Почему надо было выехать в Италию, чтобы УВИДЕТЬ, где она живет? Почему всем ясно, а ей нет?

Сорок тысяч «почему». Вот и стой, перемазанная дегтем.

— Я себя ненавижу, — сказала Романова.

— Я тебя тоже, — не пощадила Маша.

Положила трубку. Разговор был окончен.

Романова легла на кровать и заплакала. Путешествие по Италии закончилось. Восемь дней. Пять городов.

* * *

В аэропорту Шереметьево все высматривали своих.

Стеллу встречал Большой Плохой художник. Юкин смотрел в сторону, как незнакомый человек.

За Руководителем прислали машину.

— Если хотите, я вас подвезу, — предложил он Романовой.

— Нет. Спасибо. Я на такси.

Романовой хотелось остаться одной. Ей хотелось поскорее очистить от себя Италию, как мазут с плаща.

Встречала Нина. Издалека было заметно, что она кое-как питалась эти десять дней.

— Худеешь? — догадалась Романова.

— Ага. На полтора килограмма.

Нина все время боролась с весом, хотя никакого веса не было. Одни ноги и руки.

Музейных дам разобрали их добропорядочные семьи.

А Богданова задержали. Рядом с «настройщицей» стоял человек в сером и задавал вопросы. Видимо, он приехал встретить рейс. Богданов жил в одной комнате с Минаевым и, с их точки зрения, нес основную ответственность. Он мог знать больше, чем остальные. И это надо было проверить.

Когда Романова и Нина прошли мимо, волоча чемодан, тетка что-то летуче сказала Серому. Он кинул на Романову полвзгляда, четверть взгляда и отвел глаза. Но Романова почти физически ощутила на своем лице мажущий след.

— Меня в тюрьму посадят, — сказала она Нине.

Нина легко захохотала, сверкнув зубами. Ей это было смешно.

Руководитель ласково посмотрел на Нину и сказал:

— У вас такая дочь, а вы боитесь...

При чем тут дочь... Какая связь. Когда и кого из ТЕХ людей останавливали хорошие дочери...

Страсть и Страх — сильные чувства. Как кипяток. Человек не может жить в кипятке. Человек должен существовать с температурой тридцать шесть и шесть. Это совместимо с жизнью. Так что жизнь диктует свои условия. И права. И обязанности. В обязанности входило вывозить Нину на дачу. В среду из командировки вернулся муж. Он был физик-атомщик, и чем занимаются на объекте физики-атомщики, рассказывать не принято.

В субботу переезжали на дачу. Сносили вещи в машину. В этот неподходящий момент зазвонил телефон.

— Тебя, — сказал муж.

— Кто? — спросила Романова.

— Мужик какой-то...

— Что хочет?

— Спроси сама.

— Да! — Романова держала трубку возле щеки... Обе руки были заняты.

— Здравствуйте, — интеллигентно отозвался голос. — С вами говорит секретарь партийной организации Илья Петрович Муромец.

— Здравствуйте, — ответила Романова.

— С вами в поездку ездил некий Минаев...

— Да. И что?

Романова следила глазами, как Нина тащит мольберт. Она держала его вниз головой, если можно так сказать, и «голова» сейчас отлетит, скатится со штатива.

— Нина! — душераздирающе крикнула Романова. — Как ты держишь!

— Извините, — сказали в трубку. — Я, наверное, не вовремя звоню.

— А что вы хотели? — нетерпеливо спросила Романова.

— Ну ладно. Я как-нибудь позже позвоню.

— До свидания, — попрощалась Романова. Освободила руку и этой освободившейся рукой положила трубку на рычаг.

— Ничего тебе нельзя поручить, — с раздражением сказала дочери.

— А что я такого сделала? — растерялась Нина.

И в самом деле.

Прежняя декорация — Венеция, Флоренция, Рим — сменилась на деревню Жуковка и кобеля Чуню, которого почему-то звали по фамилии хозяина: Чуня Володарский.

Жизнь — театр. Когда меняются декорации, то меняется и драматургия. Пошел другой сюжет: завтраки, обеды, ужины, мытье посуды, а в перерывах — работа.

На сердце осталась глубокая борозда. Эту борозду она вычертит на холсте. Все в костер. А что делать? Она — влюбилась. Сошла с ума. Это не понадобилось. Как в себе это все рассовать? По каким полкам? На одну полку — страсть. На другую — страх. На третью — обиду.

Заставить всю душу полками. А не лучше все вытряхнуть на холст: и страсть, и тоску, и его легкое дыхание...

Романова нашла свою точку на краю деревни: изгиб реки, ива наклонилась низко, почти упала, но не упала — отражается в воде вместе со стволом. Стволы — настоящий и отраженный — как две ноги. Брошенная женщина с обнаженными ногами.

Романова искала слом света, воздуха и воды. Главное — освещение. Одна нога — на земле. На корнях. Другая — зыбкая. Ее нет. Человек и его грезы. Деревня Жуковка и Венеция. Муж и Раскольников. Романова и Романова.

Жизнь — свалка. И только искусство примиряет человека с жизнью.

Наступила осень.

Нина пошла в десятый класс. Надо было нанимать ей преподавателей.

Муж уезжал на объект. Взрывал атомную бомбу и возвращался домой с большой премией. Крепил мощь своей страны и мощь семьи. Вполне мужское занятие.

Шурка предложил сделать новую книгу про рыцарей. Романова рисовала рыцарей, как муравьев: узкое, как палочка, тельце, точечка — головка. И большое копье.

— Это не рыцари, — сказал Шурка. — Это пираты.

— Какая разница? — возразила Романова. — Одно и то же.

— У них разные цели: пираты отнимают, а рыцари защищают.

— Цели разные, а действия одни. Машут копьями и протыкают насквозь.

— Да? — Шурка задумался, подперев голову кулаком.

И в это время раздался телефонный звонок.

— С вами говорит майор Попович, — представился голос.

— Космонавт? — удивилась Романова.

— Комитет государственной безопасности.

Тот Муромец. Этот Попович. Сплошные былинные герои.

— Вы можете зайти? — спросил майор.

— Когда?

— Чем скорее, тем лучше. Давайте сегодня. В четыре.

«После обеда, — подумала Романова. — Поест и посадит».

— Я вас жду.

— С вещами?

— Что за шутки... — строго одернул майор. — Вам будет заказан пропуск.

Он положил трубку.

— Я боюсь. — Романова с ужасом смотрела на Шурку. — Я думала, все кончилось. А все только начинается.

— Хочешь, я пойду с тобой? — самоотверженно предложил Шурка.

— Хочу.

Дом — в центре города. Голубой особняк. Интересно, кто здесь жил раньше?

Майор Попович стоял на крыльце особняка и ждал, напряженно глядя перед собой. Был он белесый, бледный, как шампиньон, нос сапожком. Довольно молодой для майора. Быстро продвинулся.

Романова приближалась подскакивающей походкой, держась за Шуркин локоть.

Шурка не брился два дня, вылезшая щетина казалась синей. Вязаная шапка до бровей. Шурка выглядел зловеще, как бандит с большой дороги.

— Это вы? — догадалась Романова. — А это я.

Попович с недоумением посмотрел на Шурку, как бы спрашивая: «А этот откуда?»

— Знаете, я ревную. Никуда одну не отпускаю, — объяснил Шурка.

Майор сделал каменное лицо и сказал:

— В кабинет я вас не пущу. Подождите здесь.

— Долго?

— Полчаса, — сухо сказал майор.

— Ну хорошо, — согласился Шурка, доверяя Романову на полчаса. — Но не больше.

Попович вошел в особняк. Зашагал по коридору. Романова семенила следом.

— Не могла одна прийти? — семейным голосом прошипел Попович.

— Мы вместе книгу делаем. Детскую. Он пишет стихи, а я рисунки.

Романова как бы намекала, что она человек мирный, неопасный для страны и надо поскорее отпустить ее на благо детской литературы.

Вошли в маленький кабинет. Стол. Сейф. Пыль. Для художника — ничего интересного.

— Ну? — спросил майор.

— Что?

— Рассказывайте.

— О чем?

— О вашей поездке в Италию.

— А что рассказывать? Группа поехала. Все вернулись, а один сбежал. Минаев, кажется...

— А раньше вы его знали?

— Нет. Мы познакомились перед самым отъездом. В аэропорту.

— А вот у меня тут сигнал, что вы помогли Минаеву сбежать на Запад.

— ЧЕГО? — переспросила Романова.

— Вы с Минаевым заранее все подготовили. Обо всем договорились. А в Риме вы помогли ему выполнить операцию.

«Операция», «заговор». Посадят. Посадят обязательно. В этот голубой дом просто так не вызывают. Хорошо бы в тюрьму, а не в психушку. В психушке гормональные уколы. Сделают идиоткой. А в тюрьме все-таки природа. Тайга. Разное освещение. Можно будет порисовать.

— Кто вам дал такой сигнал? — спросила Романова.

— Из вашей группы. Свои.

— Кто?

— Я не могу это сказать. Не имею права.

Романова стала мысленно перебирать состав группы.

Руководитель? Невозможно. Он порядочный человек. Хоть и обласкан.

Лаша? Лаша дурак, но не подлец.

Михайлов? Нет. Он признан. Ему незачем выслуживаться.

Костина? Она пила.

Юкин? Он любил.

Старушка? А ей-то зачем?

«Настройщица»? Но она не из группы. Не своя.

— Кто вам это сказал? — снова спросила Романова.

— Здесь спрашиваю я, а не вы, — строго напомнил Попович и устремил на Романову профессионально-испытующий взор. Романова успела заметить, что глаза у него добрые, как у Чуни Володарского, и лает он не зло и нехотя, а только чтобы слышали хозяева.

— Я его не знала в Москве. Мы познакомились с ним в Италии.

— А вы сказали — в аэропорту...

— Мы познакомились в первый день поездки, а на четвертый он сбежал.

— А зачем он вас предупредил?

— Он не предупреждал. Он что, дурак?

— Но вы рассказали, что он вас предупреждал.

— Я сказала. Но я наврала.

— Зачем?

— Мне было неудобно. Он ухаживал за мной. Все время держал за руку...

— Ну и что?

— Держал за руку. Обнимал за плечи. А потом бросил у всех на виду. И даже не сказал «до свидания»...

— Значит, вам было важно, чтобы он сказал «до свидания»?

— Конечно.

— А то, что он предал Родину?

— А это уже ваши дела. Я вернулась, а за других я не отвечаю. У меня другая специальность.

Помолчали. Пролетел тихий ангел.

— У нас тут один в Швеции сбежал, — вдруг доверительно сказал Попович. — Может, действительно молодым трудно? Может, МЫ что-то не учитываем?

— Мне не трудно, — сказала Романова. — А за остальных я не отвечаю.

Поповича устраивал такой ответ. Получалось, что МЫ не виноваты. Виноваты другие.

— Пишите, — сказал он и подвинул бумагу.

— Что?

— Напишите, что вы его раньше не знали. Больше ничего не надо.

— Одну строчку?

— Можно две.

Романова поняла: их интересовало — был заговор или нет? Заговора не было. Романова не заговорщица, а просто вертихвостка. Версия отработана. Галочка поставлена. Он, майор Попович, завтра положит отчет перед начальством. И пойдет в отпуск.

— Написала. — Романова отодвинула листок.

— Можете идти. Давайте я вам отмечу пропуск.

Он посмотрел на часы и записал время.

Романова взяла бумажку. Пошла к дверям. Перед тем как выйти, обернулась.

Попович рылся в папке. Он уже забыл о Романовой, как Арсений в Италии.

— Простите...

— Да? — Попович поднял голову.

— А вы что-нибудь знаете о Минаеве... Какие-нибудь сведения...

— Только непроверенная информация. — Попович не хотел отвечать.

Романова не уходила.

— Нашли тело без признаков насильственной смерти, — бесцветно сказал Попович.

— А что это значит?

— Умер. Или покончил с собой.

Романова стояла с открытым ртом. Поповичу показалось, что она что-то сказала.

— Что? — не понял Попович.

— Ничего.

Шурка ходил возле голубого дома. Туда и обратно.

— Я в туалет хочу, — сказал он, увидев Романову. — Сюда нельзя зайти?

Романова не ответила.

— Лучше не надо, — посоветовал себе Шурка. — А то войдешь, и не выпустят.

Они пошли по улице. Романова не видела, куда идет. Она передвигалась, как лунатик, когда человека ведет не разум, а Луна.

Что произошло? Он не дошел до посольства? Испугался, что американцы выдадут его своим? И не решился вернуться обратно. Не доверял Романовой. Он ходил, ходил, без еды и без сна, под невыносимым грузом разлуки. И не выдержал. Покончил с собой. Или просто умер. Ему много не надо. Лег под мостом и не встал...

Зашли в кафе. Шурка предложил остаться и выпить.

Сели за столик возле окошка.

— Что он тебе сказал? — спросил Шурка.

— А? — Романова очнулась.

— Что тебе сказал этот майор?

— По-моему, они халтурят. Ленятся. Бериевские псы ни за что бы не выпустили. А этот поверил на слово.

— У меня есть школьный друг. Разведчик. На Кубе работал руководителем группы. Жили, как в раю: теплое море, деньги, фрукты — круглый год. Он в один прекрасный день все бросил и вернулся.

— Почему?

— Никто ничего не делает. Вместо того чтобы сведения собирать, отправляются на рыбалку. Как Хемингуэй.

Официант принес водку, селедку и отварную картошку, посыпанную зеленым лучком. Картошка была красивая, крупная, желтомясая.

— Масло, — напомнил Шурка.

Официант отошел.

— Если эти системы халтурят, то думаю — дело плохо, — заключил Шурка. — Скоро все развалится. Рухнет.

— А когда?

— Не знаю. Мне все равно.

— Почему?

— Так... — неопределенно сказал Шурка и разлил по рюмкам.

— За майора Поповича, — предложила Романова.

Она приподняла рюмку, посмотрела зачем-то на просвет. Вспомнила майора Поповича, простого крестьянского парня. Если бы он проявил рвение, раскрутил дело, то в лучшем случае перекрыл кислород, не дал работать. Мужа — вон с секретной службы. А в худшем случае — мог бы посадить. Разве мало диссидентов спрятано по тюрьмам? Тот, кто писал донос, знал, что делает.

— Меня чужой выручил, а свои заложили, — сказала Романова.

Шурка выпил. Потом стал есть.

Романова подумала и тоже выпила. Водка была холодная, пронзительная, как глоток свежего воздуха.

— Когда свои жрут своих, значит, скоро все развалится, — повторил Шурка.

— Когда? — снова спросила Романова.

— В один прекрасный день. Все рухнет, и встанет высокий столб пыли. А я посмотрю с другого берега.

— Ты решил уехать?

Шурка опять налил и опять выпил.

— В Израиль?

— Вряд ли. Еврейство сильно не Израилем, а диаспорой во всем мире.

— А тебе не жаль нашу страну? — серьезно спросила Романова.

— Почему вашу? Она и моя. Я — русский человек. Я бы никогда не вспомнил, что я еврей, если бы мне не напоминали.

Шурка снова разлил водку. Романова выпила жадно, будто жаждала. Потом налила в стакан и выпила полстакана. Предметы вокруг стали еще отчетливее, как в стереоскопическом кино.

— Когда Иуда повесился? — спросила Романова. — Через сколько времени после распятия?

— Не знаю. А зачем тебе?

— Не уезжай, Шурка. Пропадешь.

— Знаешь, как меня зовут?

— Шурка.

— А моего папу?

— Семен Михайлович.

— Сруль Моисеевич, — поправил Шурка. — А я Александр Срулевич. Сейчас мне сорок. Я Шурка. А через пять лет без отчества будет неприлично. А с этим отчеством я тут не проживу.

— Поменяй.

— Не хочу.

— Не все ли равно — как зовут...

— Не все равно. Почему человек должен стыдиться своего имени, которое он получил от родителей?

А вдруг МАША? — метнулось в мозгу. Нет, нет и нет... Надо срочно отогнать эту мысль, залить ее водкой.

Иначе нельзя жить. Дальше остаются муж и Нина. А потом — она сама. Тогда надо подозревать себя. И ехать в сумасшедший дом. Прямо из кафе.

В кафе вошел слепой в черных очках. Романова усомнилась: натуральный слепец или притворяется?

Дальше она ничего не помнила, кроме того, что куда-то ехала и оказалась в квартире Шуркиного товарища.

Романова догадалась, что это экс-шпион, тот, что уехал с Кубы, а на самом деле получил повышение и сейчас ему поручено следить за Романовой. Ему дано задание ее убить. Романова общалась с хозяином дома и его женой, строила свой диалог так тонко и двусмысленно, что они поняли: ее не надо убивать. Это нецелесообразно.

Потом она почему-то лезла через балкон на улицу, а ее затаскивали обратно и порвали юбку. А в конце всего — трещина на обоях. Это ее обои и ее трещина. Значит, ее дом. Ее доставили и сложили на кровать, как дрова.

...Открылась дверь. В комнату вошел Раскольников. Без сумки. Сумку он оставил на Земле.

Романова не удивилась.

— Как все случилось? — с волнением спросила она и протянула к нему обе руки. — Как?

Раскольников хотел ответить, но зарыдал.

Он плакал по себе, по своим детям, честолюбивым замыслам, по страстной плотской любви, которая бывает только на Земле. Он плакал от досады, что все так быстро, жестоко и бездарно окончилось для него. И ничего нельзя поправить. Ибо поправить можно все, кроме одного: сделать из мертвого человека — живого.

Она сидела на кровати, не двигаясь с места. Все понимала. Любила бесконечно. Это была любовь-ворона. Дольше жизни. Дольше человека.

— Хочешь, я к тебе переберусь? — самоотверженно предложила Романова. — Мне здесь все равно нечего делать...

— Не надо... Я подожду...

— Но это долго.

— Недолго... Космические сутки длятся семнадцать земных веков. Один час — семьдесят один год. Так что встретимся через час. Даже немножко раньше.

Он повернулся и пошел в черную дыру открытой двери. Как тогда, в гостинице. И как тогда, ей захотелось крикнуть: «Подожди!»

Прошел год.

Шурка Соловей уехал в Израиль и прислал одно письмо с одной фразой: «Еврейство сильно не Израилем, а диаспорой во всем мире».

В Израиле перестают быть гонимым народом, расслабляются, и пропадает эффект натяжения, дающий Эйнштейнов и Чаплиных.

В Нину влюбился плохой мальчик Саша из ее класса. Плохого в нем было то, что очень красивый. Романова тут же перевела Нину в другую школу, за три остановки от дома. На новом месте в нее влюбился мальчик Паша, провожал до самого подъезда. Паша тоже никуда не годился, но Романова махнула рукой. Поняла, что бороться бессмысленно. На смену Паше придет какой-нибудь Кеша. Настал возраст любви.

На Рождество в Москву приехала Маша с обширным багажом и в широкополой шляпе, какие носили в период немого кино. Ее встречали многочисленные друзья с семьями. Набралось человек сорок. Не меньше. Маша любила пышно обставлять свой приезд. Это был ее маленький театр.

Носильщики вытаскивали из купе чемоданы и сумки. Багаж — в стиле ретро. Дополнение к образу.

— Ты помнишь Куваева? — спросила Маша, считая багаж. — Которого мы уговаривали на площади...

— Минаева, — поправила Романова.

— Правильно, Минаева. Знаешь, на ком он женился? — Маша выждала эффектную паузу. — На дочери эфиопского короля. На принцессе. У них дворец из белого мрамора.

— В Эфиопии?

— В Париже. На площади Трокадеро. Самый престижный район.

— А как они там оказались?

— В Эфиопии произошел переворот, и папаша-король сбежал во Францию вместе с семьей и деньгами. А у Минаева в Париже шла пьеса. Они в театре и познакомились. Представляешь? А я ему метлу обещала, дворы подметать...

— Не обещала, — уточнила Романова. — Ты сказала, что все метлы розданы.

— Представляю себе, как он сейчас смеется над нами. Хихикает в кулак...

— Он умер, — мрачно сказала Романова. — Покончил с собой.

— Ерунда. Это КГБ распускал слухи, чтобы другим неповадно было сбегать.

Маша отошла к носильщику, чтобы рассчитаться.

Подул ветер и снес шляпу с Машиной головы. Шляпа пролетела по воздуху, потом покатилась по земле, как колесо. Еще несколько метров, и ее занесет под тяжелый, грязный состав.

Все всполошились и, как заполошные куры, бросились догонять шляпу. И Маша тоже побежала.

А Романова осталась стоять. Смотрела и думала: кто же надевает такую шляпу в такой климат...

...Успеют, не успеют... Схватят, не схватят... Все бегут за счастьем, как за шляпкой, с вытянутой рукой, вытаращенными глазами, достигают верхнего ля-бемоль, умирают под мостом, женятся на принцессах, плачут до рвоты, надеются до галлюцинаций — и все за полтора часа. Даже если жизнь выпадает длинная, в сто лет — это всего полтора часа. Даже меньше. Как сеанс в кино.

РАССКАЗЫ

ЩЕЛЧОК

— Я поехал с мамой в дом отдыха. В это лето я поступил в институт и мама взяла меня отдохнуть. А вместе с мамой поехала ее подруга с дочкой. Дочку звали Людка. Людке было шестнадцать лет, но она вела себя как ребенок, притом избалованный. У нее было какое-то запоздалое развитие. В шестнадцать лет она вела себя как в десять. Мама мне объяснила, что она болела, училась дома, в школу не ходила, с ровесниками не общалась, ее баловали. Ее болезнь называлась ревмокардит. Инфекция жрет сердечный клапан, жуткая вещь...

— Да... — сказала я. — Знаю.

— Откуда ты знаешь?

— У меня тоже был ревмокардит.

— Ну вот... Наши мамы уезжали на работу, а нас оставляли одних. Мне говорили: Митя, следи за Людой.

— Ты и следил, — подсказала я.

— Да нет. Она мне не нравилась. Дура какая-то... Сзади подкрадется и крикнет над ухом. От неожиданности кишки обрываются. Или вырвет что-нибудь из рук и

удирает: отними, отними... Раздражала ужасно. Просто дуры кусок.

— А почему кусок, а не целая дура?

— Она, в общем, была очень способная. Я с ней занимался математикой. На ходу хватала.

— И однажды вы пошли купаться, — напомнила я.

— Ты знаешь? Я тебе рассказывал? — догадался Митя.

Он действительно рассказывал мне эту историю, но ему хотелось еще раз восстановить в памяти тот день сорокалетней давности. И я великодушно соврала:

— Может, рассказывал, но я забыла.

— Да. Пошли мы купаться. Она разделась, я на нее, естественно, не глядел. Только обратил внимание, что ее купальник сшит из простыни. Наши мамы были бедные, денег не было на готовый купальник. А может, их тогда у нас не продавали. Пятидесятые годы, послевоенная разруха. «Холодная война». Импорта не завозят, не то что теперь... Короче, вошла она в воду. Плавает, визжит, барахтается, как пацанка. А потом вышла — я обомлел... Белый батист намок, облепил ее, и Людка вышла голая. Шестнадцать лет... Груди как фарфоровые чашки, темные соски... Бедра и талия — как ваза... И темный треугольник впереди. А я до этого никогда не видел голую женщину. Никогда. Стою как соляной столб. Не могу глаз отвести. Ты меня понимаешь?

— А чего тут непонятного? Конечно, понимаю. А дальше?

— Ну, она что-то сообразила, смутилась. Быстро оделась, натянула юбку. И стала под юбкой снимать мок-

рые трусы. Они не снимались. Она прыгала на одной ноге. В конце концов сняла. А я не мог отделаться от мысли, что под юбкой она голая и прохладная.

Лифчик снимать не стала, надела кофту. И кофта сразу намокла, впереди круги, величиной с блюдце.

Мы молча пошли в столовую. Она впереди, я сзади. Оба пришибленные, как Адам и Ева, которые откусили от яблока и что-то поняли.

Дмитрий замолчал, как будто нырнул в тот давний летний день.

— А потом... — поторопила я, хотя знала, что потом...

— Приехали родители. Впереди были выходные, конец пятницы, суббота и воскресенье. Мы еле дождались, чтобы настало утро понедельника и они бы укатили на работу.

Вот настало утро понедельника. Потом полдень. Солнце буквально палило. Как в Африке. Мы снова отправились купаться. Она снова разделась. Тот же самый купальник. Все по схеме. Она вошла в воду, вышла из воды... И тут я упал на траву от смеха... У нее в трусах, напротив треугольника, — сложенный вчетверо квадратик носового платка. Это она прикрылась, чтобы не просвечивало... Я валялся по траве и смеялся довольно долго, зажмурив глаза от радостного напряжения. А когда открыл глаза, увидел, что она сидит на земле и плачет. Подняла колени, лицо — в колени, и так горько, как плачут только дети.

Мне стало неудобно за свою жеребячью бестактность, я сел возле нее и стал утешать, гладить по волосам,

по плечам. Я говорил слова, вроде того, что она лучше всех и что смеялся я не над ней, а так... Просто хорошее настроение.

Она постепенно перестала плакать, именно постепенно, и в конце концов подняла лицо, посмотрела перед собой каким-то долгим взглядом и проговорила:

— Надо идти, пожалуй...

И поднялась не спеша. Встряхнула головой, освободила волосы. Потом накинула халат и медленно, гибко, как кошка, пошла по тропинке. Я с удивлением смотрел ей в спину. Шла юная женщина, исполненная тайн и предчувствий. Перерождение произошло на моих глазах. Как будто треснула почка и выбился бутон. И я увидел это как в мультипликации. Только что одно, и вдруг — другое...

Митя замолчал, как будто увидел идущую по тропинке шестнадцатилетнюю Людку — таинственную и прохладную...

— А потом? — спросила я.

— А потом она пришла ко мне вечером. Сама. Я бы не посмел. Мне ее доверили, и я бы не решился преступить. Но она пришла сама...

— И чего?

— С тех пор мы не расставались.

Митя задумался. Долго смотрел перед собой.

— А дальше... — подтолкнула я.

— Дальше мы поженились. Я окончил аспирантуру. Открыл рибосому.

Митя замолчал.

— А что это? — поинтересовалась я.

— Синтез белка. Я сначала вычислил его в голове, а потом сделал эксперимент и подтвердил свое открытие экспериментально.

— Так Шлиман открыл свою Трою, — вспомнила я. — Он ее сначала вычислил в мозгах. Додумался. А потом поехал на место и убедился, что она именно там.

— Ну да, — задумчиво согласился Митя. — Я работал Шлиманом.

Я не стала спрашивать, что дальше. Я знала, что Люда умерла. Все это знали. От сердца умирают в одночасье.

— Мы пили чай, я пошел за почтой, — негромко рассказывал Митя. Его голос был слегка механическим. Он просто шел за своими воспоминаниями. Настоящее горе всегда выражается просто, без оперной преувеличенности.

— Я взял газеты, вернулся, а ее нет. То есть она сидит за столом, но ее нет. Я сразу это понял. Мертвый человек — как брошенный дом с заколоченными ставнями. Жизнь ушла, и это ни с чем не перепутать. Только что — одно, и вдруг — другое...

Только что ребенок — щелчок — и женщина. Только что живая — щелчок — и мертвая. И этому невозможно противостоять. Время идет только в одну сторону.

— В этот год мне присвоили звание ОВУРа, — сказал Митя и расшифровал: — Особо Выдающийся Ученый России. Людка была счастлива.

— Она же умерла... — не поняла я.

— Ну и что? Мы все равно не расстаемся...

Я задумалась: Митя и Люда — по разные стороны времени, а все равно вместе. Половина населения страны, если не три четверти, живут в одно время и даже на одной жилплощади — и все равно врозь. Как я, например.

— ОВУР похоже на ОВИР, — сказала я, чтобы что-нибудь сказать.

— А это что?

— Отдел виз и регистраций.

— Когда-нибудь и я получу свою основную визу и отправлюсь к Людке. И мы снова с ней пойдем купаться. Там ведь есть река.

— Лета, — подтвердила я. — В ней вода теплая, как на Кубе.

— Откуда ты знаешь?

— Я так думаю. И песок белый, как мука.

— А крокодилы там есть? — спросил Митя.

— Есть. Но они никого не жрут. Просто плавают, и все. Люди, львы, крокодилы.

— Хорошо... — отозвался Митя. — И купальников не нужно.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

Посол Швеции заканчивал свой срок в России и устраивал прощальный прием. Я получила приглашение и решила пойти по двум причинам:

1. Мне были приятны посол и его жена, в них просматривалась гармония богатства и любви.

2. Посольство расположено в ста метрах от моего дома. Перейти дорогу — и ты в чужой стране.

В банкетном зале собрались журналисты, писатели, ученые, политики. Приглашают, как правило, одних и тех же. Выражаясь современным языком — своя тусовка. У западных людей тусовка — чинная, немножко скучная, но все же приятная от красивых интерьеров, изысканной еды, элегантных женщин. Я заметила, что богатство имеет свою энергию. Бедность не имеет энергии, и поэтому человек в бедности быстро устает. Истощается.

Я оказалась за одним столом с политиком Икс.

Любой политик хочет стать президентом, так же как солдат хочет стать генералом. А почему бы и нет? Господин Икс — молод, умен, честолюбив, агрессивен. В нем все нацелено, напряжено и плещет в одну сторону. В политику.

— Скажите, а как вы допустили в свои ряды господина Игрек? — спрашиваю я.

Я называю имя человека, набравшего на последних выборах большинство голосов. Честно сказать, я тогда впервые усомнилась в своем народе, сделавшем такой выбор. А где народный ум? Где народная мудрость, о которой твердили народники и большевики?

— Это вы допустили Игрек, — отвечает Икс.

— Я?!

— Вы. И такие, как вы. Интеллигенция.

Я делаю круглые глаза. Вернее, я ничего не делаю они сами становятся круглыми.

— Вы не создали нормальной оппозиции президенту, — растолковывает Икс. — А там, где нет нормальной оппозиции, там возникает Игрек.

Я раздумываю. Эта мысль никогда не приходила мне в голову. Интеллигенция действительно любила президента, но ведь «от любви беды не ждешь», как пел Окуджава.

— И все-таки Игрек не должно быть, — говорю я. — Его надо перевести на другую работу.

— На какую?

— В зависимости от того, что он умеет делать.

— Предположим, он уйдет. Но что изменится? Ведь дело не в нем... Представьте себе, что у вас потекла на кухне вода. Набралась полная мойка. А потом вода пошла через край. На пол. Понятно?

— Понятно.

— Так вот, убрать Игрек — это все равно что тирать воду на полу. А вода все равно прибывает. Значит, что надо делать?

— Завернуть кран, — говорю я.

— Правильно, — соглашается Икс. — Надо завернуть кран.

— А что есть кран? — спросила я.

В это время к Икс подошел единомышленник, что-то сказал на ухо. Они отошли. Мне показалось, они пошли сколачивать оппозицию президенту.

Но ведь оппозиция есть. Они орут в телевизоре. И, пользуясь выражением Юрия Карякина, у них «такие рожи». У них на рожах все написано. Чем такая оппозиция, лучше никакой.

Напротив меня сидит известный писатель. Ест. Его тарелка, вернее, содержимое тарелки напоминает миниатюрный стог сена. Одно навалено на другое. И много. Рядом сидит посол иностранной державы. На его тарелке изящный натюрморт: веточка петрушки, звездочка морковки, в середине — листик мяса. Может, рыба. Но это отдельная тема.

— Послушай, — спросила я у писателя. — Что есть кран?

— Какой кран?

Я пересказала разговор с Икс. Писатель выслушал.

— А зачем это тебе? — спросил он. — Пишешь и пиши. Писатель должен писать, независимо от времени, от географии и всей этой ерунды.

— Это не ерунда, — сказала я. — Это наша жизнь.

— Нельзя долго болеть. Надо или умирать, или выздоравливать.

— Ты о чем? — не поняла я.

— Обо всем этом. Об Иксах, Игреках и Зетах. Пусть делают что хотят. Надоело.

Писатель посмотрел на меня глазами свежемороженой рыбы. Они не выражали ничего.

Я поднялась и вышла в сад. Из сада был виден мой дом. Но мой дом находился в России, а здесь я была за границей. В Швеции. Это ощущалось во всем, даже в зеленой травке под ногами. Она росла не кое-как, она была густо посеяна, потом подстрижена и напоминала зеленый ковер.

Ко мне приблизился Журналист с бокалом. Он работает по совместительству светским львом. Куда бы я

ни пришла, везде он с бокалом и шейным платком вместо галстука.

— Хочешь, я сознаюсь тебе в одной тайне?

Я ждала.

— Ненавижу журналистов и жидов, — открыл он свою тайну.

— Но по-моему, ты и первое, и второе, — удивилась я.

— Ничего подобного. Я крещеный.

— А что это меняет?

— Национальность — это язык, культура и воспитание. Мой язык и моя культура — русские. Значит, я русский человек. А химический состав крови у всех одинаковый.

Он был возбужден. От него пахло третьим днем запоя.

Я подумала: иудейский Вседержитель строг до аскетизма, ничего лишнего не позволяет. А православие разрешает грешить и каяться. Журналист активно грешит и кается в своих статьях. Он пишет о себе: я плохой, очень плохой, отвратительный. Но за этим просматривается: я хороший, я очень хороший. Я просто замечательный...

Я приготовилась спросить у него: что есть кран, и даже начала пересказывать свою беседу с Икс. Но в это время в конце зала появилась официантка с подносом. На подносе, играя всеми цветами, стояли напитки: золотистое виски, рубиновое куантро, чистая голубоватая водка. Журналист устремил свой взгляд на все это великолепие и пошел по направлению взгляда. Остальные темы его волновали много меньше.

Подошел известный Скульптор. Он был высокий, что немаловажно.

Так приятно разговаривать с мужчиной, глядя снизу вверх. Так надоело разговаривать на равных. Я — антифеминистка.

Скульптор стал рассказывать, что собирается создать памятник крупному полководцу.

— А какой он был? — спросила я.

— А вы не знаете?

— Знаю. Но мне интересно ваше видение.

— Русский мужик.

— А еще? — спросила я.

— А что может быть еще? — удивился Скульптор.

— Понятно... — сказала я.

— Что вам понятно? — Скульптор напрягся, как зонтик.

Подошла официантка, предложила спиртное. Я выпила кампари, после чего мир стал прекрасен и располагал к откровенности.

— Что вам понятно? — переспросил Скульптор.

— То, что вы трехнуты на русской идее.

Трехнуты — значит сдвинуты и ушиблены одновременно.

— А вы на чем трехнуты? — настороженно поинтересовался Скульптор.

— На качестве труда, — сказала я и простодушно поглядела на Скульптора снизу вверх. Он был хоть и трехнутый, но красивый.

Скульптор почему-то обиделся и отошел.

Прием подходил к концу. Гости прощались с послом и его женой. Она выслушивала теплые слова и широко улыбалась. А посол не улыбался широко. Чуть-чуть... У него характер такой. Народу было много, человек сто. И каждому досталось от ее широкой улыбки и от его чуть-чуть.

Я подошла к Режиссеру.

— Ты на машине? — спросил он.

— Нет. Я рядом живу.

Мы вышли из посольства. Перед домом на площадке стояли длинные черные машины. По громкоговорителю объявляли: «Послу Голландии — машину!» И одна из длинных машин, как корабль, плавно причаливала к самому подъезду.

— А ты пешком идешь... — сказала я Режиссеру.

Я знала Режиссера давно. Он руководил студенческим театром, был худой и влюбчивый. Теперь у него свой театр. Он не худой и влюбчивый. Что-то изменилось, что-то осталось по-прежнему. Он по-прежнему много и хорошо работает. У него по-прежнему нет денег. Только слава.

— Это верно, — подтвердил Режиссер. — Пешком иду.

— А ты бы хотел машину с шофером?

Я имела в виду положение, дающее машину с шофером и громкоговорителем.

— А зачем? — искренне удивился Режиссер. — Пройтись пешком, на ходу придумать сцену. Потом поставить. Разве это не самое интересное?

Что есть кран? У каждого свой. У Режиссера — театр. У господина Икс — власть. У Журналиста — водка. У Скульптора — идея. У Писателя — никакой идеи. Его накрыло одеялом равнодушия.

А дальше приходит вечность и перекрывает главный кран.

Мы прощаемся. Я иду к дому. Перед домом разрыли траншею, оттуда идет пар. Чинят трубу с горячей водой. Хорошо бы зарыли обратно...

Это было год назад. Траншею зарыли. По ней много воды утекло. Сейчас — другая жизнь. Другие проблемы. И посол другой. Я его не знаю.

РУБЛЬ ШЕСТЬДЕСЯТ — НЕ ДЕНЬГИ

Возле метро «Новые Черемушки» в ларьке продавались шапки-невидимки. Шапки были бежевые, с помпончиком на макушке, походили на лыжные. Их никто не брал.

Я остановился возле ларька, повертел в руках шапку и спросил у продавщицы:

— А почему никто не покупает?

— Вигоневая, — равнодушно объяснила продавщица.

Я пощупал шапку: она действительно была не шерстяная и, видимо, холодная.

— Ну, будете брать? — высокомерно спросила продавщица. Она была молодая, с высокой прической и держала ее на голове гордо, как олени держат рога.

— А сколько стоит? — виновато спросил я.

— Рубль шестьдесят, — сказала продавщица. — Деньги, что ли? Больше пропьете, и толку чуть. А тут все-таки шапка...

Рубль шестьдесят — не деньги. А все-таки шапка...

— Вам какую?

— Все равно. Можно эту...

Продавщица взяла шапку, на которую я указал, надела ее себе на голову и — пропала.

Я растерялся. Вообще меня удивить очень трудно, почти невозможно. Я тонко чувствую корни жизни, все могу понять и объяснить. Но здесь я ничего не мог понять.

Продавщица тем временем сняла с головы шапку и снова возникла.

— Включает? — равнодушно спросила она. Ей было все равно, каким товаром торговать.

— Не понимаю, — сознался я. Удивление и растерянность еще не осели во мне.

— Я пропадала или не пропадала? — уточнила продавщица.

— Пропадала.

— Значит, включает, — успокоилась продавщица. — А то, знаете, щас холодно, шапки портятся, которые вовсе не включают, а которые наполовину... Вам завернуть?

— Не обязательно.

Я взял шапку, отошел от ларька. Надел поплотнее на голову и отправился на работу.

Главное в жизни — правильно расставлять акценты. Уметь видеть — что важно, а что не важно.

Если, например, в метро тебе давят в спину и ходят по ногам — надо понимать, что это явление временное.

Я стою в шапке-невидимке, стиснутый со всех сторон, и чувствую плечи своих современников.

Возле меня в минусовом расстоянии стоит деревенская женщина в шали и плюшевой жакетке. На шее у нее, как олимпийский венок, висит гирлянда сушек.

— Мать, — обиженно говорит кто-то за моей спиной, — встала как памятник. Подвинься немножко!

Я включен, и там, где я стою, пустое место. Бабка двигается в эту пустоту, но она заполнена мной.

— Куда я подвинусь-то? — огрызается бабка. Она так оглушена городом, цивилизацией и своими узлами, что ничему уже не удивляется.

— У, деревня... — сердится человек за спиной.

Можно бы повернуться и двумя пальцами взять горожанина за нос, за самый кончик, чтобы умел расставлять в жизни акценты. Но с другой стороны, стоит ли хватать за нос человека, который не умеет расставлять акценты и, видимо, сам страдает от этого? Ему от этого еще хуже.

Я прохожу мимо вахтера без пропуска и направляюсь в свой корпус.

Институт у нас большой — целый город. Руководит институтом Копылов, лауреат трех премий.

Копылов — гений. Ему ничего не стоит выдумать новый самолет и открыть новый закон. При этом он не кричит «эврика!», как Архимед, а просто откидывается на спинку рабочего кресла и делает пружинящие разводы руками в стороны.

Я завидую Копылову, как Сальери Моцарту.

Завидую потому, что он — гений, а я просто способный человек. Я, может быть, могу выдумать самолет, но на это уйдет очень много времени. Потому что я буду отвлекаться. А Копылов ни на что не отвлекается. Все остальное ему неинтересно. Но это не значит, что он рассеянный и близорукий, как описывают ученых в литературе, роняет на ходу стулья и ходит в разных ботинках. Копылов точен. Никогда и никуда не опаздывает. У него потрясающие запонки с рубинами и модная стрижка.

Иногда я встречаю его и здороваюсь, и он отвечает и идет дальше.

В статье В. Терещенко «Как вести себя управляющему» сказано: «Каждый подчиненный работает лучше, если он видит, что начальник его замечает».

У меня есть хрустальная мечта в жизни: я мечтаю, чтобы в один прекрасный солнечный день любого времени года Копылов заметил бы меня, подошел и протянул руку.

— Здравствуйте, Слава! — сказал бы гений Копылов.

— Здравствуйте, Игорь Ростиславович! — вежливо ответил бы я.

— Ну как дела?

— Спасибо, потихоньку...

— А как жизнь вообще?

— Как когда...

— А я, знаете, замотался: то в Африку, то в Америку — некогда сосредоточиться.

Мы бы понимающе помолчали, и я бы сказал:

— Запонки у вас в большом порядке...

— Ага... — обрадуется Копылов. — Жена купила!

Мы улыбнемся друг другу и пойдем каждый своей дорогой. Он — к себе, я — к себе. Но, придя к себе, я бы сел за стол и тут же изобрел круглое крыло и поместил бы его сверху самолета, как верхний плавник у рыбы. Копылов взял бы в руки мой чертеж, поглядел вдаль и прищурился.

Гена бы с восхищением выругался, а Саша тут же сел и написал заявление об уходе.

Сегодня 14 февраля. Прекрасный солнечный день.

Я поплотнее натягиваю на уши свою шапку и сворачиваю от своего корпуса к главному.

Я иду к Копылову мимо постов, мимо секретарей и стараюсь при этом не чихать и ступать осторожнее.

Копылов работал. Он сидел за столом лицом ко мне и что-то писал на листке. Может быть, выводил теорию относительности, забыв, что ее уже однажды открыл Эйнштейн.

Я осторожно прикрыл за собой дверь, прошел к столу и сел в кресло против Копылова.

Я приблизительно представлял, как все будет выглядеть: сейчас я сниму шапку и возникну. Копылов долго будет смотреть на меня, а потом тихо спросит:

— Когда вы вошли?

— Только что.

— А кто вас пропустил?

— Никто. Я сам пришел в шапке-невидимке.

Я улыбнусь и протяну ему шапку. Копылов рассмотрит со всех сторон, скажет: «Полупроводники» — и вернет обратно. И посмотрит на меня. Не вообще, а на меня.

Но все выглядело совершенно иначе, чем я представлял.

Я снял шапку и возник. Копылов поднял на меня глаза, но не удивился и не испугался, как я предполагал. Он посмотрел куда-то мне в переносицу, потом прищурился и стал что-то быстро писать на листке. Видимо, ему в голову пришла подходящая мысль.

Я растерялся, но ничего не сказал. Я смотрел на его лоб, на челюсть, немножко выдвинутую вперед. Копылов работал и был в этот момент похож на виолончелиста Ростроповича, когда тот играет «Элегию» Массне.

Я надел шапку и исчез. Копылов не заметил.

Тогда я дождался, когда он поднимет голову, — быстро стащил шапку и возник прямо перед его лицом.

Копылов стал смотреть на меня, и это продолжалось долго — минуту или две. Я попробовал даже слабо улыбнуться, но лицо Копылова оставалось бесстрастным, и я понял: он смотрит на меня и меня не видит.

Он был сейчас далеко со своими несозданными самолетами, неоткрытыми законами. Я не имел к этому никакого отношения, значит, я не существовал вообще. И если даже я встану сейчас вниз головой и пройдусь по кабинету на руках — это тоже ничего не переменит.

Я поднялся, сунул шапку в карман и пошел из его кабинета.

Когда я вышел, секретарша Копылова вытаращила на меня глаза.

— Когда вы вошли? — испугалась она.

— Только что.

— А кто вас пропустил?

— Я сам прошел. В шапке-невидимке.

Я вытащил из кармана шапку и показал секретарше.

— Синтетика? — заинтересовалась она.

— Вигоневая.

Секретарша не поверила. Посмотрела на меня и улыбнулась. Ей нравились молодые и веселые сотрудники.

Я подхожу к своему корпусу. Представляю, как появлюсь сейчас в своей шапке, как включусь и выключусь.

Ирка завизжит. У нее преобладает первая сигнальная система. Реакции примитивные.

Гена восхищенно выругается. Он ругается во всех случаях — и когда сердится, и когда радуется.

Железнов скажет: «Чем бы ни заниматься, только не делом». Для Железнова дело — превыше всего.

Гришка Гарин быстро спросит:

— Сколько платил?

— Рубль шестьдесят, — быстро скажу я.

— Даю три, — скажет Гришка. — Продай...

А мой друг Саша ничего не скажет. Даже не посмотрит. Он мне не верит и все, что идет от меня, внутренне вычеркивает. Ему кажется, что я постоянно выпендриваюсь и это основное дело моей жизни. Я защитил диплом, который хотели зачесть как диссертацию, не потому, что я умный и много работал, а всем назло. У меня была самая красивая девушка — не потому, что она мне нравилась, а чтобы все завидовали. Сейчас я пришел в

шапке-невидимке, чтобы все побросали свои дела и занимались одним мной. Саша ни за что не поверит, что я купил ее в ларьке за рубль шестьдесят. И если я когда-нибудь умру, Саша даст голову на отсечение, что я умер только для того, чтобы обо мне поговорили.

Иногда, особенно когда выпью, мне хочется позвонить Саше по телефону и сказать:

— Мы с тобой пять лет учились на одном курсе, играли в одной команде и даже дружили когда-то. Как получилось, что ты меня совершенно не знаешь? Я ведь не такой...

Но я никогда не позвоню ему и ничего не скажу.

Когда я вошел в комнату — все работали на своих местах и о чем-то оживленно спорили. Начала спора я не застал, и меня это не интересовало.

Я встал поближе к окну — так, чтобы всем было удобно на меня смотреть, взялся за помпончик и приготовился к аттракциону.

— ...потому что Славка не сексуальный, — возразила Ирка.

— При чем тут? — удивился Гена.

— При том. Половая система имеет прямое отношение к таланту!

Я растерялся.

— А почему вы решили, что Слава не сексуальный? — спросил Железнов. Я не ожидал, что его может заинтересовать эта тема. Я думал, его интересует только работа.

— Мне совершенно не хочется его обнять! — сказала Ирка.

— А он хочет, чтобы ты его обнимала? — уточнил Гришка Гарин.

Я мысленно поблагодарил Гришку за эту реплику.

— Дело не в этом! — Ирка встала.

Сейчас она произнесет речь и окончательно зачеркнет меня в глазах родного коллектива. Я решил, пока еще не поздно, сдернуть шапку, но в это время Железнов спросил:

— А почему Славы нет на месте? Он что — болен?

— Он здесь, — не оборачиваясь, сказал Саша.

— Вы его видели? — уточнил Железнов. Его интересовала трудовая дисциплина.

Саша обернулся, посмотрел прямо мне в лицо.

— Видел, — сказал он не Железнову, а мне, и по тому, как он точно на меня смотрел, я понял — он меня видит. Никто не видит, а он видит.

Я стоял посреди комнаты и слушал, как говорили обо мне. И чем дольше я стоял, тем невозможнее становилось снять шапку. Получалось, что я подслушиваю.

Я на цыпочках двинулся к двери, осторожно действуя между столами и стульями.

Когда я проходил мимо Саши, мы обменялись с ним взглядами.

— Пока, — сказал мне Саша.

Я небрежно помахал кистью в воздухе, как кинозвезда, выходящая из самолета.

— Что? — спросил Гена.

— Я не тебе, — сказал Саша.

Я вышел из нашего коридора и направился к проходной. Я думал о том, что не безразличен Ирке, и о том,

что Копылов меня не заметил, а Саша заметил. Может быть, это произошло потому, что Копылов не думает обо мне, а Саша занят этим постоянно.

Я вспомнил лицо Копылова, когда он работал. Вряд ли я со своими правильными чертами смогу достичь когда-нибудь такого лица.

Я иду по улице в шапке-невидимке, смотрю по сторонам. Я всех вижу, а меня не видит никто. Я свободен и могу делать все, что хочу: могу, например, зайти в ювелирный магазин и украсть самый крупный бриллиант. Но я не делаю этого, потому что бриллиант мне не нужен. Если бы я был стекольщик, он понадобился бы мне для того, чтобы резать стекло.

Я не стекольщик. Я конструктор. Мои орудия производства — карандаш и талант. Карандашей у меня сколько угодно, а талант нигде не украдешь.

Хорошо бы где-нибудь возле Парка культуры имени Горького продавали в ларьке талант, любовь, надежду по килограмму в одни руки. Я поехал бы туда и набрал бы целую хозяйственную сумку — для себя и для своих знакомых.

Но счастье на углах не продают, а продают апельсины. Можно на худой конец купить апельсины и раздавать прохожим вместо счастья.

Идет, например, человек — усталый и разочарованный, ничего хорошего для себя не ждет. И вдруг по воздуху к нему подплывает апельсин — круглый и оранжевый, как солнце вечером.

Но с другой стороны, подплывающий по воздуху апельсин может навести человека на мысль, что он не

справился с противоречиями жизни и тихо сошел с ума. В этом случае апельсин доставит ему больше огорчения, чем радости.

Поэтому я не совершаю никаких поступков — ни в ту, ни в другую сторону. Я могу делать все, что хочу, но я ничего не хочу. Просто иду, дышу и гляжу.

Как-то Гришка Гарин принес на работу анкету из английского журнала «Лайф». Анкета задавала вопросы типа: «Сочувствуете ли вы пьяным? Как относитесь к чужим детям в возрасте до года? Считаете ли возможным изменить своей жене?» На вопросы надо было отвечать «да» или «нет», ставить плюсы или минусы. В зависимости от сочетания плюсов и минусов определялся характер.

В результате выяснились характеры:

Ирка — дитя с неразвитым вкусом.

Железнов — мрачный тиран.

Саша — борец за правду с мещанским уклоном.

Гришка — арап по натуре, без мещанства.

Я — обиженный обыватель.

Там был еще один характер: интеллигентный человек. У меня не хватило до интеллигентного человека одного плюса.

Если бы шапка-невидимка попала на голову Гришке Гарину — он перессорил бы три или четыре государства, съездил в Париж, ограбил там Национальный банк, потом с деньгами женился бы на экс-шахине Сорейе и вернулся в Советский Союз, чтобы похвастать.

Гришка — арап по натуре, без мещанства, а я — почти интеллигентный человек. Самое большое, на что я

способен, — сбежать с работы и пойти в кино на дневной сеанс. На четырнадцать ноль-ноль.

Картина только что вышла. Вечером на нее не попасть. Днем тоже. В кассу за билетами выстроилась длинная очередь. Можно, конечно, пройти без билета, но тогда я буду стоять весь сеанс.

Гришка наверняка прошел бы без билета и сидел на самом лучшем месте. А я добросовестно встаю в самый хвост и жду своей очереди. Ботинки у меня холодные, шапка вигоневая, рукавиц нет вообще — я их теряю или забываю в такси.

Я стою, дую на пальцы, подплясываю — делаю множество мелких бессвязных движений. Хорошо, что меня не видно.

Когда подошла моя очередь, я снял шапку и сунул голову в окошечко к кассирше. Но в это время меня дернули за рукав. Я вытащил голову из окошечка, оглянулся и увидел женщину лет шестидесяти или семидесяти. В этом возрасте я не вижу разницы. Она стояла в очереди следом за мной и все время наступала мне на пятки.

— Привет! — неожиданно современно отозвалась женщина. — А вы откуда взялись, как из-под земли?

— Я стоял, — с достоинством объяснил я.

— Молодым, значит, везде у нас дорога, а старикам, значит, везде у нас почет?

— Не давать ему билета! — дружно распорядилась очередь, которая состояла преимущественно из стариков.

Я открыл рот, но потом закрыл обратно. Я не умею спорить, когда не чувствую контакта с аудиторией.

Определенно я отношусь к человечеству лучше, чем оно ко мне.

Я выбираю Гришкин вариант, прохожу без билета и сажусь на самое лучшее место в десятом ряду. Сижу и жду, что сейчас будет. А будет следующее: появится нервный зритель и займет место согласно купленному билету. Ничего не подозревая, он сядет ко мне на колени, потом вскочит, наберет полные легкие воздуха и заорет. Я тоже вскочу и побегу вдоль ряда по ногам. Весь ряд вначале окоченеет от ужаса, потом начнется тихая паника.

Я кручу головой, ищу глазами своего зрителя. Но зритель не пришел, может, передумал идти в кино, а может, сел куда-нибудь на другое место.

Свет потух, начался киножурнал. Я снял шапку, вытянул ноги и стал смотреть на экран.

На экране по болоту шли вьетнамские партизаны. Сначала показывали вязнущие сапоги, потом лица.

Сзади меня постучали по спине. Я оглянулся и увидел мальчика.

— Дяденька, — шепотом сказал мальчик, — мне за вами не видно.

Я достал из кармана шапку и надел ее на голову.

— Дяденька, — снова постучал мальчик, — мне за вами мутно...

Как правило, мы с женой возвращаемся одновременно — я немножко пораньше, они с дочкой немножко попозже.

Мою жену зовут Маша, дочку — Витька. Витька отличается от других детей тем, что она моя дочь. А

Маша отличается от других жен тем, что она меня любит. За это она — моя жена.

Когда мы познакомились с ней четыре года назад, она каждый день писала мне письма, печатала их на машинке, а вечером отдавала, и я читал при ней.

Сейчас она мне писем не пишет. Некогда.

Маша работает машинисткой на киностудии. Она поступила туда четыре года назад в надежде выйти замуж за кинорежиссера и сниматься в кино. Но режиссер ей не попался, а попался я. С тех пор Маша о карьере кинозвезды не думает. На работе она думает о работе. После работы бежит в магазин, оттуда — в детский сад. О чем она думает по дороге, я не знаю. Придя домой, крутится до тех пор, пока все не лягут спать. А когда все ложатся спать, уходит на кухню, кладет на стул подушечку и печатает срочную работу.

Сегодня все, как всегда: я прихожу пораньше, они с Витькой попозже, и их появление начинается с самой высокой ноты.

Сначала на лестничной площадке грохает дверь лифта, слышен возмущенный крик жены. Потом все это врывается в квартиру: жена, дочь и крик. Витька, топая валенками в галошах, несется в комнату, за ней с той же скоростью несется Маша. Далее Витька кидается животом на диван, трясет в воздухе ногами, а с ее галош во все стороны летят кляксы подтаявшего снега.

Маша стоит над ней и кричит так, что слышно возле метро.

Если бы можно было лазить с ногами на диван, если бы это считалось нормальным, Витька ни за что бы не

полезла. Весь смысл — в создании конфликта, в столкновении противоположных интересов. Тогда в этом есть драматургия.

Я ни на секунду не сомневаюсь в том, что моя дочь — талантливейшее творческое существо и в будущем из нее выйдет то, что не вышло из меня.

Жена тем временем обращается ко мне на самых высоких нотах, и смысл ее обращения в том, что я сижу как истукан, будто меня это не касается, будто я ничего не вижу и не слышу.

Я вижу, но совсем не то, что видит Маша. Я понимаю Витьку и сочувствую ей. Но я понимаю и жену: в течение дня ей приходится преодолевать массу всяких мелочных препятствий, которые забирают столько же сил, сколько и крупные.

Я встаю с кресла и подхожу к Витьке.

— Ехала деревня, — начинаю я и ловлю ее за ноги.

— Мимо мужика, — подхватывает Витька.

— Вдруг из-под собаки...

— Лают ворота!

Маша удаляется на кухню, а мы с Витькой остаемся вдвоем. Ее невозможно просто поставить, чтобы она стояла, и просто расстегивать пуговицы, чтобы она ждала. Во все необходимо ввести элементы игры и творчества.

Мы вместе куражимся, и нам весело. Я смотрю на ее зубы — белые, как кусочки сахара, на волосы — мягкие и взмокшие, как перышки. Я люблю Витьку, а она любит меня. Я для нее самый умный и самый красивый, и она никогда ни на кого меня не променяет. Витька — надежный человек.

Я беру ее на руки — такую реальную, тяжелую, как плотно набитый тючок, и у меня ощущение, будто я держу на руках маленького себя.

— А что ты мне принес? — интересуется Витька и заглядывает в самые мои зрачки.

Любовь — любовью, подарки — подарками. Витька эти вещи не смешивает.

Сегодня я ничего не принес, кроме шапки-невидимки. Я бегу в прихожую, потом возвращаюсь оттуда.

— Раз... — таинственно считаю я. — Два...

— Три! — подхватывает Витька. Еще не знает зачем, но ей уже интересно.

На слове «три» я надеваю шапку и пропадаю. Витька на мгновение теряется. Она не ожидала, что я исчезну. Это огорчило ее, и она тут же заплакала.

— Раз, — сосчитал я из пустоты, — два... три! — И возник.

Витька обрадовалась и тут же захохотала сразу на самой высокой ноте. Переход от горя к счастью у нее мгновенный. Кончилось горе — началось счастье.

Я снова исчезал и снова появлялся, а она замирала, переставала дышать, ожидая моего появления. Потом радовалась, как умеют радоваться только дети — до самого конца, до самой последней клеточки. Для Витьки в шапке-невидимке не было ничего сверхъестественного — просто интересная игра, в которой она существовала с большей охотой, чем в реальности.

Я надел шапку и побежал на кухню. Мне захотелось на минуточку отвлечь Машу — увести из кухни в сказку.

Я представил себе, как Маша вытрет руки о передник, вывернет шапку наизнанку и начнет разыскивать ярлык.

— Чье это производство? — спросит она.

— Отечественное.

— А импортных не было?

— Не было.

— Почему ты только одну купил?

— А зачем тебе больше?

— Я бы Клаве подарила. Пустячок, а приятно.

Но все произошло по-другому.

— Маша! — позвал я, радостно предчувствуя ее удивление.

Она обернулась и посмотрела на пустую стену. Взгляд у нее был абстрактный и одновременно сосредоточенный, будто забыла что-то важное и не может вспомнить.

Я сдернул шапку и предстал перед ней. Ничто в ее лице не переменилось. Она смотрела абсолютно так же, как на стену. Как на пустое место. И все время что-то вспоминала — может, то время, когда писала мне письма. Потом отвернулась, стала чистить картошку, из-под пальцев медленно поплыл округлый серпантин из кожуры.

Я бросил шапку на вешалку и вернулся в комнату. Я все понимал и ничего не мог понять.

Я понимал, что она не замечает меня и ей безразлично — живу я здесь или нет. И я сам не знал — живу я здесь или нет. Я ем, сплю, играю с дочкой, разговариваю с женой. Мы говорим друг другу все необходимые слова:

«здравствуй», «как дела?», «переключи на другую программу», «не балуй ребенка, он тебе на голову сядет».

Но в сущности, меня здесь нет. И она привыкла к этому и перестала меня замечать.

Зачем я купил эту шапку? Чтобы узнать все о себе? А так ли это необходимо: знать о себе все? Люди не дураки. Недаром эти шапки лежали навалом и никто не хотел их брать. Даже за рубль шестьдесят.

В этот вечер Маша не печатала. Наверное, не было срочной работы.

Из прихожей доносился легкий треск — это обои отставали от стены. Витька что-то быстро проговорила во сне. Она выросла за последнее время и стала видеть сны.

Маша спала, не подозревая о том, что существуют шапки-невидимки.

Я смотрел в потолок и думал: зачем я ее все-таки купил? Ведь не затем, чтобы пройти без билета на дневной сеанс...

Я понял, что не засну. Тихо оделся и вышел на улицу.

Было пустынно. Деревья под снегом казались добрыми. Добрые деревья и добрые дома.

Медленнее, чем обычно, шло такси. Была гололедица, и ездить следовало осторожнее, но мне думалось, машина идет медленно оттого, что за рулем добрый шофер.

Я шел без шапки. Меня все видели, и я видел всех.

Я шел к Вике, которую бросил четыре года назад за то, что она бросила меня. Сменяла на кого-то получше.

Я знал ее десять месяцев — триста дней. За это время девять раз я был счастлив, а 291 раз — несчастлив.

Моя к ней любовь была чувством непреходящего огорчения. И все-таки ни с кем и никогда я не был так счастлив и так до конца несчастлив.

У Понтия Пилата была собака Банга, которая лежала у его ног. Это была обыкновенная собака — такая же. как другие ее породы. Но оттого, что она служила Понтию Пилату, казалась себе необыкновенной, привилегированной собакой.

Я тоже казался себе привилегированной собакой и готов был лежать у Викиных ног и в этой жизни, и за гробом. Но ей это не понадобилось.

Она, правда, не знала о моем намерении, я не говорил о нем вслух, боялся попасть в смешное положение.

Я и сейчас боялся: представлял, как войду невидимый и увижу их вместе — ее и того, на которого она меня поменяла. Тогда я не сниму шапку.

Я дождусь, когда он выйдет из комнаты, запру дверь и предстану перед ней.

— Можешь придумывать все, что угодно, — спокойно скажет она. — Тебе ничего не поможет.

— Давай начнем все сначала, — попрошу я.

— Это невозможно.

— Но почему?

— Потому что невозможно дважды войти в одну и ту же воду...

Она жила на Чистых прудах, в доме, где когда-то жил Эйзенштейн, и сейчас возле парадного висела мемориальная доска.

Доска висела, как и четыре года назад, и дом стоял на том же месте. Ничего в мире не меняется, кроме нас самих. Я надел шапку и позвонил. Мне долго не отпирали. Я ждал и нервничал — вдруг моя шапка испортилась от холода, и в самый ответственный момент я всплыву перед ее семьей как на спиритическом сеансе.

За дверью послышались шаркающие шаги. Это была ее мама. Она носила тапки со смятыми задниками, которые сваливались с ног. Видимо, за это время не купила себе других.

Она открыла дверь и посмотрела, но ничего не увидела. Тогда она вышла на лестничную площадку, придерживая халат, и заглянула в лестничный пролет. Наверное, предположила, что кто-то позвонил, а потом побежал вниз, как школьник.

Мама смотрела в пролет, а я тем временем пробирался в квартиру, втянув живот до позвоночника, мягко ступая, как благородный хищник.

Я стал в прихожей за самой дверью, прижавшись к стене спиной и лопатками так, будто хотел врасти в эту стену. Мама вернулась сразу за мной следом, стала запирать двери на все замки и цепочки. Я боялся, что она заденет меня или просто почувствует мое присутствие. Но она ничего не почувствовала, потому что думала, наверное, о других вещах.

Она закрыла дверь, потушила свет и ушла в свою комнату, шаркая тапками. Я стоял в темноте, ждал, когда затихнут шаги, а когда шаги затихли — подождал еще немного.

Вика спала. Форточка в ее комнате оставалась открытой. Было прохладно и пахло снегом.

Я осторожно прошел к письменному столу и сел в кресло. Все здесь было по-старому: те же книжные шкафы один к другому, тот же божок с острова Пасхи на стене.

Мне вдруг показалась бессмысленной вся эта затея дважды ступить в одну и ту же воду. Я понимал, что надо встать и уйти, пока она еще не проснулась, но не мог заставить себя подняться. Почувствовал, как смертельно устал за весь день, а особенно за последние пятнадцать минут, которые простоял в коридоре возле стенки. Но все-таки больше всего я, наверное, устал от одиночества. Оттого, что я всех видел, а меня — никто.

Вика проснулась, быстро села на диване и дернула за кисточку торшера. Она смотрела прямо на кресло, где я сидел. Мне казалось, что она видит меня.

Я медленным движением снял с головы шапку и возник.

— Славка... — спокойно проговорила Вика, так, будто я сидел на этом месте все четыре года. — Как ты сюда попал? В окно?

— Нет. — Я показал шапку. — В шапке-невидимке.

Она сразу поверила.

— Ты сам ее сконструировал?

— Купил за рубль шестьдесят.

Она не поверила.

— Я знала — ты что-нибудь придумаешь и придешь... Только почему так долго?

— А ты ждала?

— Конечно...

— А почему ты мне не сказала?

— Ты не спрашивал.

— Потому что ты бросила меня.

— Это ты меня бросил.

— Ты с ума сошла!

Я мог тогда думать и говорить только о ней. Я ни на минуту не мог остаться наедине с собой и так обалдевал от этого, что заплакал однажды средь бела дня на стоянке такси.

— Я любил тебя...

— Значит, любил и бросил.

— Разве так бывает?

— Значит, бывает.

— Ты что-то напутала...

— Мы вместе напутали.

— Но почему ты молчала?

— Боялась попасть в смешное положение.

В двадцатом веке, когда космонавт выходит из корабля прямо в небо, двое людей, необходимых друг другу, не могут просто прийти один к другому и сказать об этом. Нужно какое-то чудо, шапка-невидимка, чтобы встретились двое людей, живущих в одно время, в одном городе, на соседних улицах, в двадцати минутах ходьбы.

Во мне закипали упреки, но я молчал. Видимо, обиженный обыватель боролся во мне с интеллигентным человеком.

— Как твои дела? — спросил я.

— Обычно, — сказала она. — Заботы творчества Когда их много — плохо. Когда их нет — тоже плохо.

Интонации у Вики были ровные и какие-то деревянные. Она думала в этот момент не о заботах творчества.

— Ты у Копылова работаешь? — спросила она.

— Да. Вместе с Сашей.

— Он, конечно, обожает тебя...

— Кто?

— Копылов. Ты ведь очень талантливый конструктор.

— Это тебе кажется, — уклончиво сказал я. Мне не хотелось ее разочаровывать.

— Ничего не кажется, — возразила Вика. — Помнишь свой диплом? Его хотели зачесть как диссертацию.

«Это когда было», — подумал я, но промолчал.

— Как зовут твою дочь?

— Виктория.

Мы помолчали.

— Жена тебя, наверное, обожает...

— Она очень устает, — неопределенно сказал я.

— Зато она каждый день тебя видит.

— Думаешь, это такое уж счастье?

— Счастье! — убежденно сказала она.

Мы снова помолчали.

— Почему ты меня не поцелуешь? — тихо спросила Вика.

Действительно — почему? Наверное, потому, что я пришел к ней ночью, как жулик, и прятался, и сейчас боялся, что войдет кто-нибудь.

— Я должен по-другому прийти к тебе, — сказал я.

— Я подожду. — Она умела меня понимать. — Только не очень долго. Ладно?

Я подошел к Вике и увидел, что она плачет. Поэтому такие ровные и деревянные были интонации. Она плакала и скрывала слезы.

Я не стал успокаивать. Где-то я не мог простить этих четырех лет и того, что Витька не наша общая дочь.

— Подарить тебе шапку? — спросил я.

— Не надо... — Она покачала головой.

— Почему?

— Прическу будет мять. Я косынки ношу.

Я увидел: она совершенно не переменилась за это время. И вообще ничего в мире не меняется, если мы сами остаемся прежними.

Я возвращался домой без шапки. Я знал теперь, зачем ее купил, — чтобы узнать все о себе.

И я все о себе знаю: я талантливый конструктор, и видеть меня каждый день — счастье.

Копылов, правда, меня не замечает, но это явление временное. Заметит. И лучшая женщина мира ждет меня в своем доме, где раньше жил Эйзенштейн.

Я все про себя узнал, и шапка была не нужна мне больше. Можно подарить ее кому-нибудь. Гришке Гарину, например. Но Гришка — человек тщеславный. Неизвестно, как он захочет распорядиться миром. Опасно дарить такую вещь. Лучше просто выбросить.

Можно положить шапку на перила моста, по которому иду через Чистые пруды. Но вдруг мост исчезнет, и тогда пойду по воздуху, над водой, как Христос.

Рубль шестьдесят — не деньги. Я перегнулся через перила и бросил шапку в воду. Бросил и пошел дальше, мимо кинотеатра «Колизей», мимо издательства «Искусство» — по Бульварному кольцу. И пока я шел — не встретил ни одного живого человека.

Город стоял совершенно пустой, будто вымер. Может, время такое, когда еще все спят. А может, шапки вошли в моду, весь город накупил их — ведь они дешевые. Люди надели шапки и теперь невидимы. Может, на улице полно народу — просто я никого не вижу.

И я снова один. Меня видят все, а я — никого.

ГИМАЛАЙСКИЙ МЕДВЕДЬ

Где бы Шлепа ни появлялся, его всегда били за то, что он лез не в свои дела. Шлепа считал, что не своих дел нет, все дела общие.

Что касается Никитина, его не били никогда, ни мужчины, ни женщины. Главным в жизни Никитин считал личную свободу и ни во что не вмешивался.

Шлепа и Никитин были друзьями, соседями и сослуживцами одновременно. Они жили в одном доме и работали на одном предприятии. Это было очень удобно — не дробить души отдельно на соседей, отдельно на друзей и отдельно на сослуживцев, а все сосредоточить на одном человеке.

Для Шлепы это было удобно, а для Никитина нет, потому что, когда били Шлепу, он испытывал яростные

противоречия. С одной стороны, следовало вмешаться и сохранить принципы, а с другой стороны, не вмешиваться и сохранить лицо от синяков, которые долго потом будут переходить из одного цвета в другой, менять оттенки от фиолетового до нежно-лимонного.

И сегодня, возвращаясь с работы, Никитин снова испытал противоречия. В переулке стоял Шлепа в обществе четырех юных длинноволосых хулиганов. Лицо у Шлепы было одухотворенным, а лица хулиганов — бездуховными. Они, кажется, закончили устные прения и переходили к следующей части.

Никитин хотел выскочить из переулка и пойти другой дорогой, но в этот момент его заметил Шлепа и радостно замахал руками, как во время первомайской демонстрации.

У Никитина не было выбора. Он подошел к группе с тоскливым чувством под ложечкой, именуемым в простонародье трусостью. Трусость порождает неестественность, а неестественность — высокомерие. Никитин высокомерно оглядел хулиганов, задержался глазами на одном из них в свитере до колен и с обручальным кольцом. Это был женатый хулиган.

— Можно тебя на минуточку? — потребовал Никитин.

— Почему меня? — неуверенно запротестовал женатый хулиган. — Что здесь, никого больше нет, что ли...

— Отойдем! — приказал Никитин, ободренный неуверенностью собеседника.

Женатый хулиган пожал плечами и отделился от группы. Они отошли к железным решетчатым воротам. Это был въезд в родильный дом.

— В чем дело? — строго спросил Никитин.

— Он к нашей бабе приставал, — объяснил хулиган.

Никитин огляделся по сторонам и увидел неподалеку «бабу». Ей было лет пятнадцать или шестнадцать, она стояла с папиросой, зажав ее между пальцами, как фигу.

— Вы старые, — сказала «баба», подвинувшись поближе, однако не слишком близко. — У вас одни принципы, а у нас другие.

— А ты мой нос видишь? — спросил Никитин.

— Ничего особенного, длинный и асимметричный.

— А представляешь, какая у меня будет рожа, если вы его сломаете?

Девочка посмотрела на женатого хулигана, хулиган задумался, может, представил себе рожу Никитина со сломанным носом.

— Ладно! — великодушно согласился хулиган. — Забирай его и уходи.

Под «его» он имел в виду и нос, и Шлепу.

Никитин забрал Шлепу, и они ушли.

— Ну вот что ты опять ввязался? — с раздражением спросил Никитин.

Шлепа каждый день преодолевал сопротивление среды и надоел Никитину до отвращения. Он с удовольствием бы плюнул и поменял себе приятеля. Но менять Шлепу — это значило менять и соседа, и сослуживца, в сущности, менять все свои привычки.

— Что ты к ним пристал?

— Они не умеют вести себя, — объяснил Шлепа. — Что ж, я мимо пройду?

— А твое какое дело?

— Ты это серьезно говоришь? — удивился Шлепа.

Никитин с удовольствием бы плюнул на Шлепу прямо сейчас, но плевать в общественном месте было неудобно, и он сказал:

— Зря я тебя оттуда увел.

— Зря! — вдохновенно согласился Шлепа. — Я бы им показал!

Никитин возвращался домой в шесть часов вечера, а жена — в два часа ночи.

— Мы репетировали, — говорила она и уходила в ванную «смывать глаза».

Жена была эстрадная актриса, жонглер. Подкидывала на воздух пять колец и четыре мячика, а потом ловила их по очереди.

Большого смысла в этой деятельности Никитин не видел, но в жизнь и деятельность своей жены не вмешивался из уважения к личной свободе. К собственной личной свободе.

Где она репетировала и с кем, Никитин не спрашивал, потому что, если бы заинтересовался, мог узнать нечто такое, что она скрывала. А если узнать то, что скрывала жена, — пришлось бы совершать серию поступков: объясняться, разводиться, искать другую жену, потом рассказывать ей все про себя с самого начала. А под конец выяснится, что новая жена с талантами, их надо будет

открывать или зарывать. А Никитину ничего не хотелось ни открывать, ни зарывать. Ему было тридцать два года, и он привык к своим привычкам.

Сегодня Никитин лег спать рано и уже смотрел какой-то интересный сон, когда вернулась жена. Она ничего не сказала, как обычно, даже не разделась, а как была — в пальто и сапогах, с накрашенными глазами — прошла в комнату, села возле Никитина и заплакала.

Потом опустилась на колени, положила свое соленое лицо на лицо Никитина. Эта привычка осталась у них с молодости.

— Ну что? — спросил он.

— Я уронила мячик, — проговорила жена.

Никитин понимал, что она плачет не из-за мячика, а по другой причине.

— Могу я уронить мячик? — плакала жена. — Имею право?

— Не имеешь. Люди платят за то, чтобы ты ловила мячики. А если не умеешь — не выходи на сцену.

— Но у меня девять предметов.

— Хоть сто.

Жена перестала плакать, пошла смывать глаза. Она долго ходила по квартире, тукая пятками, потом долго шуршала одеждой, снимая одно и надевая другое. Наконец легла в постель, обжигая Никитина холодными ногами.

— Боря... — позвала жена.

— Чего тебе?

— Ты редкий, замечательный человек...

Она была благодарна Никитину за то, что он не лез в ее жизнь и ни о чем не спрашивал. За то, что ей было куда вернуться и было кому поплакаться.

Рабочий день начинался в девять часов, а в половине десятого в кабинет к Никитину пришел Шлепа с очередным предложением.

— Вот! — гордо сказал он и положил на стол эскиз. На эскизе была изображена комната с синими стенами и белыми углами.

— Что это? — не понял Никитин.

— Цех, в котором будут делать мясорубки.

— А почему белые углы?

— Чтобы в них не плевали и не бросали окурки. Это психологически невозможно — плюнуть в белый угол. Я не прав?

Никитин подумал, что Шлепа прав: плевать в темный угол психологически легче.

— Где ты работаешь? — в свою очередь спросил Никитин.

— В бюро технической эстетики, — не задумываясь ответил Шлепа.

Они с Никитиным действительно работали в бюро технической эстетики, которое получало заказы от предприятий и выполняло их в срок.

— Какую форму мы должны сейчас разрабатывать? — снова спросил Никитин.

— Мясорубку, — не задумываясь ответил Шлепа.

Бюро действительно получило заказ на разработку формы мясорубки. Срок давно прошел, а формы не было.

Директор завода упрекал заведующего бюро, заведующий бюро кричал на Никитина, Никитин материл Шлепянова, то есть Шлепу. Шлепянов в свою очередь никого не упрекал: в его обязанности входило творчески мыслить.

Поразмыслив творчески, Шлепа решил, что мясорубка, помимо своей основной задачи молоть мясо, должна нести дополнительную смысловую нагрузку, и предложил «одухотворенный вариант» мясорубки. Корпус он предложил решить в виде самолета, впереди устанавливался пропеллер. Домохозяйка возле такой мясорубки должна была ощутить себя пилотом, который отправляется в полет.

«Одухотворенный вариант» не прошел, потому что на пропеллер накручивалось мясо.

Шлепа предложил следующий, «иронический» вариант: корпус в виде коровы, а ручка в виде хвоста. Перемалывая мясо, домохозяйка будет думать, что она накручивает корове хвост, и это отвлечет ее от прозы кухни.

«Ироническая мясорубка» тоже не прошла. Заведующий бюро Саруханян считал, что у мясорубки не должно быть дополнительных сверхзадач, кроме ее основной задачи — перемалывать мясо. Мясорубка должна быть красивой и удобной, а самолет и корова — элементы промышленности и сельского хозяйства — здесь абсолютно ни при чем. И домохозяйка-пилот тоже ни при чем.

Шлепа возражал Саруханяну, что мясорубка — это именно сочетание промышленности с сельским хозяйством, выраженное в лаконичной форме. А что касается

домохозяйки, то она тоже человек, а человек — это главный предмет исследования в искусстве.

Тогда Саруханян рассказал Шлепе анекдот про Христа и про апостолов, которые шли по воде. Саруханян, как Христос, советовал своему апостолу Шлепянову не выпендриваться, а идти по камешкам, как все.

Шлепа обещал подумать и на другой день приносил Никитину очередной вариант мясорубки. Сегодня он принес цех с белыми углами.

— А какое это имеет отношение к мясорубке? — спросил Никитин.

— Самое прямое. Если люди будут делать мясорубку в помещении с чистыми углами, они совершенно иначе ее сделают. Я не прав?

Никитин подумал, что Шлепа прав, потому что он сам, например, не мог сосредоточиться, если в кабинете было не убрано. Но поддержать Шлепу — значит выслушать от Саруханяна анекдот про апостолов, а Никитин терпеть не мог старых анекдотов. И вообще он не любил ходить по начальству — стеснялся своего длинного асимметричного носа и, когда разговаривал, глядел в пол. Саруханян тоже не смотрел на Никитина. Он ничего не стеснялся, просто ему было неинтересно. Если бы Никитин и Саруханян встретились в нерабочее время где-нибудь на Бородинской панораме или в Музее восточных культур, они просто не узнали бы один другого, потому что никогда толком не видели друг друга в лицо.

— Я не прав? — переспросил Шлепа.

Никитин снова промолчал, испытывая противоречия, как в переулке. Сказать Шлепе «нет» — тот на него

обидится, и тогда настанет такая тоска, что жить неохота. А если Саруханян скажет «нет», Шлепа обидится на Саруханяна, а тот даже не заметит, потому что его друзья и соседи работают в разных местах: Шлепа не имеет к ним никакого отношения.

— Иди к нему сам со своими углами, — решил Никитин.

— А ты? — наивно спросил Шлепа, не подозревая о противоречиях.

— Это же твои углы, а не мои.

Шлепа взял эскиз и пошел к Саруханяну, а Никитин принялся тщательно прибирать свой стол. Он не мог работать, если на столе был беспорядок.

Никитин успел только сложить в стакан карандаши, когда вернулся Шлепа.

— Ну? — поинтересовался Никитин, составляя карандаши острием вверх.

— Выгнал, — коротко сказал Шлепа.

— Из кабинета или вообще?

— Из кабинета и вообще.

Никитин молчал. Он ожидал, что это когда-нибудь произойдет, но не ожидал, что это случится сегодня.

— Слушай... — растерянно проговорил Никитин. — А ты не можешь по камешкам... как все?

Шлепа подумал, глядя перед собой, потом покачал головой.

— Нет, — сказал он, — не могу.

В воскресенье Никитин взял дочь Наташу, которая жила у тещи, и поехал с ней в зоопарк. Они каждое воскресенье проводили вместе и рассказывали друг дру-

гу о прожитой неделе. Никитин сообщал о своих делах, а Наташа о своих, и когда она говорила или задавала вопросы, то забегала вперед и смотрела на Никитина снизу вверх его собственными глазами. У них были совершенно одинаковые глаза — зеленые, как крыжовины, в светлых ресницах.

— Что это у тебя? — спросил Никитин, дотрагиваясь пальцами до ее щеки. Возле уха на щеке была бледная сыпь.

— Диатез, — объяснила Наташа. — Меня бабушка яйцами перекармливает.

— А ты не ешь.

— Из яйца целый цыпленок получается с клювом и перьями, значит, в нем много витаминов. А витамины необходимы растущему организму.

Никитин слушал Наташу и думал о том, что, видимо, постарел. Вот весна, вот солнце, вот дикие звери — все это должно восприниматься как чудо. А он воспринимал иначе: ну весна, ну солнце, ну дикие звери. Ну и что?

— Кто это? — спросила Наташа, глядя на Никитина снизу вверх.

— Гималайский медведь.

— А откуда ты знаешь, что он гималайский?

— Написано.

— А ты мог бы его погладить?

— Зачем?

— Просто так.

Никитин подумал: а мог бы он действительно просто так войти в клетку и погладить гималайского медведя? С одной стороны, это поступок совершенно бессмыс-

ленный, а с другой стороны — в нем вызов человеческим привычкам. Никитин мог бы вернуться домой и сказать жене: ты там с каким-то ничтожеством репетируешь, а я действительно настоящий мужик, гималайского медведя погладил. Мог бы пройти мимо хулиганов не высокомерно, как раньше, а спокойно. Пройти — и все.

— Трус! — крикнет вдогонку Шлепа.

— Можешь думать, что хочешь, — ответит Никитин. И ему действительно будет безразлично, что подумают о нем друзья, соседи и сослуживцы, потому что сам Никитин будет знать себе истинную цену.

Медведь лежал черный, огромный, безразличный, положив, как собака, морду на лапы, и, по всей вероятности, скучал. Никитин подумал, что здесь, в клетке, медведь утратил всю свою медвежью индивидуальность, и все ему было безразлично, даже собственные привычки.

— Можешь? — допытывалась Наташа.

— Сейчас, — сказал Никитин. — Подожди меня здесь, я быстро поглажу и вернусь.

Клетка оказалась незапертой, а просто задвинутой на тяжелую железную щеколду. Когда Никитин отодвинул щеколду и вошел, медведь не обернулся и, казалось, не обратил на это никакого внимания.

Шерсть у медведя была черная, слипшаяся, возле брюха висела сосульками. Никитин с отвращением дотянулся до высокой медвежьей холки и заторопился обратно. Медведь быстро поднялся с пола, обошел Никитина и лег возле двери. Никитин, в свою очередь, хотел обойти медведя, но тот поднял морду и посмотрел на него мелкими замороженными глазками. Медведь не утратил свою

медвежью индивидуальность. Никитин понял это, во рту у него сделалось сухо, а пульс застучал в висках с такой силой, что казалось, будто уродовал лицо.

— Наташа! — позвал Никитин.

Дочь, радостная, подбежала к клетке.

— Поди позови кого-нибудь. Я не могу выйти.

— Тебе уже надоело? — разочарованно спросила Наташа.

— Позови...

Наташа побежала куда-то, а через несколько минут вернулась и привела сторожа зоопарка в ватнике и в кепке.

— Никитин, — представился Никитин и протянул сквозь прутья руку с вытянутыми пальцами.

— Пьяный, что ли? — брезгливо поинтересовался сторож.

— Нет.

— Поспорил?

— Нет, не спорил.

— А зачем влез?

— Просто так.

— Вот и сиди теперь. Гималайский медведь никого не выпускает.

— Почему?

— У него такая манера.

Сторож имел дело с хищниками и знал манеру каждого. Не верить ему не имело никакого смысла.

— А что же теперь делать? — упавшим голосом спросил Никитин.

— Убить.

— Кого? — испугался Никитин.

— Это уж я не знаю. Медведь уникальный, а таких, как ты, полный зоопарк.

Сторож не учитывал ни конкретного состояния Никитина, ни его принципов относительно свободы личности.

— Позовите кого-нибудь из начальства, — попросил Никитин.

— Зачем? — Сторож не любил ходить по начальству. Может быть, стеснялся своего ватника и кепки.

— Посоветоваться, — сказал Никитин.

— А что начальство? Оно вместо тебя в клетку не полезет. Ты теперь с медведем советуйся. Нам его заграничное государство подарило. Убить медведя — значит идти на конфликт. Из-за тебя никто на конфликт не пойдет.

Сторож повернулся и зашагал от клетки. В его обязанности входило кормить зверей, следить, чтобы люди не совали в клетки острые предметы, а решать конфликты на уровне внешней политики в его обязанности не входило. Это было не его дело, а сторож не в свои дела не вмешивался.

Перед клеткой тем временем собрался народ. Медведь привык, что на него смотрят, привык быть на виду и не обращал на это никакого внимания. А Никитин нервничал и удивлялся человеческой бестактности, хотя с позиций свободы личности все было правильно. Хочешь остановиться — можешь остановиться. Хочешь посмотреть — можешь посмотреть.

В центре толпы стояла Наташа и давала интервью. Она объясняла, что медведь гималайский, а человек — ее папа. Папа у нее — художник, мама — жонглер, а сама она живет у бабушки и учится в третьем классе.

— Наташа! — окликнул Никитин. — Иди домой...

— А можно, я еще здесь побуду? — Она, как и мать, любила успех и внимание к себе зрителей.

— Хватит, — запретил Никитин, — иди домой.

— А куда? К маме или к бабушке?

Никитин подумал, что жены дома нет, и сказал:

— Иди к бабушке.

Вечером пришел сторож и просунул медведю плоский ящик с сырым обветренным мясом. Потом достал из кармана табличку и повесил ее на клетку.

— Что это? — спросил Никитин.

— Твои данные.

— Зачем? — смутился Никитин.

— Завтра посетитель повалит, интересоваться начнет.

— А вы что написали?

— А тебе не все равно?

Никитину было далеко не безразлично, что о нем пишут, но он не решался пререкаться со сторожем.

— Трудно работать с хищниками? — заискивающе спросил Никитин, чтобы задержать сторожа вопросом. Он боялся оставаться один.

— Если обращаться по-человечески, то нетрудно.

— А если не по-человечески? — Никитин уточнял свои перспективы.

— Сожрет.

— А меня медведь не сожрет?

— Не должен. Он сытый.

Сторож ушел. Никитин и гималайский медведь остались вдвоем. Медведь лежал по-прежнему, уложив морду на лапы, и, казалось, не замечал Никитина.

На дощатом полу темнели клочки сена, валялся круглый бублик. Никитин хотел есть, но боялся пошевелиться. Он сидел в углу, страдая от холода и от неопределенности своего положения: с одной стороны, медведь действительно уникальный, а таких, как Никитин, действительно полный зоопарк. Медведь имеет познавательное значение и укрепляет дружбу между народами, а Никитин никакого значения не имеет. Он руководит Шлепой, а это занятие бесполезное, потому что Шлепа неуправляем. Что касается жены, то жена его отсутствия не заметит. Так что получалось: заменить Никитина легко, а заменить медведя сложно.

Никитин незаметно заснул и продолжал мерзнуть во сне, а потом ему стало вдруг тепло и даже душно. Проснувшись, он увидел, что лежит посреди клетки, прижавшись к гималайскому медведю. Должно быть, перебрался к нему ночью от страха и холода.

Первым посетителем зоопарка была жена Никитина. Она явилась задолго до открытия, перелезла через ограду и теперь бегала от одной клетки к другой — разыскивала мужа.

Никитин увидел ее раньше, чем она его, и отметил, что незамужний образ жизни наложил на нее свой

отпечаток. Жена имела совершенно незамужний девический вид.

Она подбежала к клетке и придвинула лицо к прутьям. Глаза у нее были яркие, а губы бледные — она их не красила. Губы были бледные, большие и нежные. Никитин с удивлением смотрел на лицо жены и находил в нем черты дочери.

— Господи! — оторопело проговорила жена, оглядывая клетку. — Никаких удобств!

— Смотря что принимать за удобства, — неопределенно сказал Никитин.

— Идем домой! Что бы ни было, ты должен ночевать дома.

— А тебе не все равно, где я буду ночевать? По-моему, для тебя это самый удобный вариант.

— Хочешь, я рожу второго ребенка, заберу Наташу от матери и пойду работать в ясли? Я буду зарабатывать на хлеб, присматривать за детьми, и мы начнем новую жизнь? — Жена заплакала, прикусив губу, неотрывно глядя на Никитина. — Я не знала, что ты переживаешь. Я думала — тебе все равно. А раз ты протестуешь, значит, ты меня любишь. Значит, все можно поправить... Почему ты молчишь?

— А что я должен говорить? У меня ведь нет репетиций. Я не жонглер.

— Ты должен меня понять: мне хотелось внимания, поклонения. Жизнь уходит.

— У тебя было достаточно внимания — каждый вечер зрительный зал.

— А мне не нужен зал. Мне нужен один человек, который мог бы умереть за меня. Я не думала, что ты можешь умереть за меня. А больше мне ничего не надо. Я все брошу, и мы начнем новую жизнь.

— Тебя в ясли не возьмут.

— Почему? — растерялась жена.

— Потому что ты окончила цирковое училище, а не дошкольно-педагогическое. У тебя другая специальность.

— Что это за специальность? — пренебрежительно сказала жена. — Подкидывать мячики в воздух, а потом ловить обратно. Какой смысл?

— Редкий вид работы...

— А какой в нем смысл?

Никитин с удивлением отметил, что у жены свои сомнения.

— Ну... а какой смысл в альпинизме? Люди сначала лезут на гору, а потом спускаются обратно.

— Тоже никакого смысла, — сказала жена. — Искусственная цель и искусственные трудности. Мне уже надоело все искусственное. Я устала. Я не хочу больше жонглировать, я хочу жить.

Жена снова заплакала.

Гималайский медведь приподнял морду и внимательно посмотрел на Никитина, на жену, потом снова на Никитина. Никитин отчего-то смутился и сказал жене:

— Ну ладно, ты иди...

— Я первая пойду, — согласилась жена. — Я куплю проигрыватель с пластинками, и у нас будет полный дом музыки.

Она пошла от клетки — сначала медленно, потом побежала. Жена бежала, сунув руки в карманы, перебирая длинными тонковатыми ногами в белых чулках, и походила на свою выросшую дочь.

Никитин смотрел ей вслед и думал о том, что ничего не знает о жене, и это представилось как спасение, ибо чего не знаешь, того нет. А раз ничего нет, то, может, действительно можно все поправить и для этого не надо совершать никаких поступков. Просто объединять свои привычки с привычками жены.

День выдался неспокойный. Приходили родные, близкие, не очень близкие и вовсе незнакомые.

Явились даже несколько человек, с которыми Никитин вместе отдыхал в пионерском лагере в Ватутинках — не то в первую, не то во вторую смену. Бывшие пионеры рассказывали Никитину, как они вместе потихоньку рвали клубнику, и из рассказа получалось, что Никитин еще в те времена был смелый и необыкновенный человек.

Он слушал и думал: для того чтобы обратить на себя внимание, ему надо было либо умереть, либо забраться в клетку с гималайским медведем.

Никитин сначала выходил к людям, принимал их внимание скромно, но с достоинством. Потом ему надоело и их внимание, и собственное достоинство. От внимания устаешь так же, как от невнимания.

Никитин забился за медведя, прислонился к медвежьему боку и, чтобы скоротать время, стал решать в уме форму мясорубки.

Поразительно, как переменилась жизнь за последнее время. Переменилось все, кроме мясорубки. Она осталась такой же, как была, — громоздкая, неудобная, с массой деталей. Динозавр, а не мясорубка.

Никитин сидел, вытянув ноги, прикрыв глаза, и ему представлялся дом, полный музыки, с необычной мясорубкой на кухне — электрической, пластмассовой, голубой в красный горошек.

В обеденный перерыв в зоопарк приехал Саруханян. Он пробился к самой клетке, но Никитина не увидел.

— Борис Николаевич! — громко окликнул Саруханян.

Никитин выглянул из-за медвежьего хребта и, узнав своего начальника, подошел к прутьям.

Они стояли по обе стороны решетки и с интересом разглядывали друг друга. Саруханян заметил, что глаза у Никитина зеленые в светлых ресницах, а нос длинный и асимметричный. А Никитин обратил внимание на то, что Саруханян сутулый, с большой квадратной головой, чем-то неуловимо напоминает гималайского медведя.

— Пожалуйста, — сказал Саруханян, — я могу восстановить Шлепянова, если для вас это так принципиально. Но ведь вы могли прийти ко мне в кабинет и сказать об этом? Зачем же лезть в клетку?

Никитин промолчал.

— Я не спорю, — продолжал Саруханян. — Шлепянов способный художник, интересно мыслит. Но то, что он предлагает, невозможно применить. У нас прикладное искусство, а не искусство вообще.

Никитин снова промолчал.

— Вы не согласны? — забеспокоился Саруханян.

— Нет, — сказал Никитин, — я не согласен. Всякое искусство должно нести в себе элемент иррационального развития. Тогда это искусство.

— Но у нас маленький штат и большой план. Шлепянов занимается иррациональным развитием, а другие должны выполнять его работу.

— Во все времена кто-то сеял хлеб, а кто-то смотрел в небо. И те, кто сеял хлеб, кормили того, кто смотрел в небо. Надо мыслить шире, чем штат и план.

Саруханян задумался, глядя за плечо Никитина. Может быть, в этот момент он пытался мыслить шире. Потом вдруг очнулся и увидел медведя.

— Фу! Какой противный! — негромко, искренно поделился Саруханян.

— Почему — противный? — заступился Никитин. — Обыкновенный гималайский медведь.

Подошел сторож и отогнал Саруханяна от клетки.

— Близко подходить не разрешается, — строго предупредил он. Потом повернулся к Никитину и приказал: — А ты тут своих порядков не заводи!

Саруханян испугался сторожа и ушел, оставив Никитину передачу: армянский коньяк и кулек конфет «Памир». Конфеты Никитин отдал медведю, а коньяк оставил себе.

Он выпил половину бутылки, положил голову на колени и закрыл глаза. А когда открыл их — стояла ночь.

Стояла ночь. Звери спали и бредили во сне. Где-то далеко плакал маленький лисенок.

В небе висел крепкий молодой месяц. Сосны возле площадки молодняка стояли черные, тяжелые, и казалось, будто написаны маслом.

Никитин смотрел перед собой и удивлялся: как это красиво — ночь. Обычно он спал в это время суток и ничего не видел. Надо было оказаться в клетке с гималайским медведем, чтобы понять ночь, увидеть Саруханяна, посмотреть, как бегает жена. Вспомнить, как воровал в детстве клубнику: тогда, в тот день, шел теплый яростный дождь, и лужи вскипали пузырями. Он бежал по лужам и так устал, что нечем было дышать.

Звеньевой Семка сказал, что не надо обращать на это внимания, скоро придет второе дыхание, и оно действительно пришло. Пришло потому, что нельзя было остановиться. Надо было бежать дальше.

За спиной подергали дверцу. Никитин обернулся и увидел двоих людей, одного — побольше, другого — поменьше.

Никитин подошел к дверце и узнал Шлепу с подружкой женатого хулигана. В темноте просматривался ее нежный профиль.

— Здравствуйте, — вежливо поздоровалась она, узнав Никитина.

— Извините, я вас не приглашаю, — сказал Никитин.

— Ничего, — разрешила девочка.

— Мы пришли тебя сменить, — сказал Шлепа.

— Не надо.

— Почему?

— Таких, как ты, больше нет. А таких, как я, полный зоопарк.

Девочка с восхищением посмотрела на Шлепу. Она тоже предчувствовала, что таких больше нет, и Никитин подтвердил ее предчувствия.

— Зачем ты сюда залез? — спросил Шлепа.

— Так... — сказал Никитин.

— Но какая-то сверхзадача у тебя была?

— Была. Погладить гималайского медведя.

— И все?

— Все.

— Эгоизм, — сказал Шлепа.

— Почему? — не понял Никитин.

— Ты залез в клетку, вместо того чтобы выполнять свои обязанности.

— О каких обязанностях ты говоришь?

— Об обязанностях каждого человека перед другими людьми.

— Но почему эгоизм? Я залез в клетку — кому от этого плохо?

— А кому от этого хорошо? Это никому не надо — ни тебе, ни другим.

— Медведю, — сказал Никитин. — Ему со мной веселее.

— А перед медведем у тебя нет обязательств. Его интересы можно не учитывать.

Медведь приподнял морду и глухо заворчал.

— Ой! — сказала девочка.

— Вы идите, — предложил Никитин.

— Мы тебя рядом покараулим, — пообещал Шлепа.

Они отошли к площадке молодняка, сели на качалку и стали качаться.

— А я музыкальную мясорубку придумал! — крикнул Шлепа. — По принципу шарманки: можно будет крутить ручку и слушать музыку.

Шлепа учитывал интересы домохозяйки и совершенно не учитывал интересов Саруханяна.

Никитин вернулся на место — в угол и стал думать о своих обязанностях перед другими людьми. У каждого человека есть несколько кругов обязанностей — малых и больших, главных и второстепенных. Жена у Никитина в слезах, дочь — в диатезе — значит, он не выполняет своих прямых и конкретных обязанностей перед самыми близкими людьми. Другие, незнакомые, люди пользуются мясорубками-динозаврами — значит, Никитин не выполняет обязанностей и перед более широким кругом людей. А еще существуют обязательства, которые человек принимает с рождением, потому что он родился человеком, а не медведем, например.

Конечно, гималайский медведь имеет познавательное значение, но эту роль может выполнить любой другой гималайский медведь. Не этот, так следующий. А обязанности Никитина может выполнить только он один. Так что получается: заменить медведя легко, а заменить Никитина невозможно.

— Медведь... — тихо позвал Никитин. — Отпусти меня...

Он подошел к гималайскому медведю, присел возле него на корточки и стал гладить его по холке, по длинной

черной морде. Медведь медленно мигал, голова у него была большая и теплая.

Никитин гладил медведя — делал то, за чем пришел в клетку. Он пришел, чтобы взорвать свои и человеческие привычки, но сейчас уже не помнил об этой своей изначальной цели.

Они прожили в одной клетке сутки с небольшим, это было сложное для Никитина время, и прожили они его честно: медведь оберегал Никитина ночью от холода, днем от человеческого внимания. А Никитин угощал медведя конфетами и не разрешал о нем пренебрежительно отзываться.

— Я понимаю, тебе скучно будет, — тихо говорил Никитин, преодолевая пальцами жесткую дремучую шерсть, — но я завтра к тебе обязательно приду.

Медведь перекатил морду на ухо, отвернулся от Никитина.

— А в воскресенье мы вместе придем. Вот посмотришь...

Никитин подошел к двери и, просунув руку сквозь прутья, отодвинул щеколду.

Он вышел и задвинул щеколду обратно, чтобы не волновать сторожа, который спал где-то, подчиняясь своим привычкам, а не обязанностям.

Шлепа и девочка медленно качались, безвольно свесив руки. Осыпанные лунным светом, они были черные и четкие, как на эстампе.

Влюбленность — это потеря реальности. Шлепа и девочка смотрели куда-то в вечность, слушая новое свое

состояние. Никитина они не увидели, потому что он был в реальности, а они — нет.

Никитин постоял возле них и медленно пошел к выходу. Потом, спохватившись, вернулся обратно к клетке, снял табличку со своими данными.

Интересно было почитать на досуге, что написал о нем сторож зоопарка.

ИНСТРУКТОР ПО ПЛАВАНИЮ

Я лежу на диване и читаю учебник физики.

«Когда в катушке тока нет, кусок железа неподвижен...» Это похоже на стихи:

Когда в катушке тока нет,
Кусок железа неподвижен...

Ни катушка, ни кусок железа меня не интересуют совершенно. Я изучаю физику для двух людей: для мамы и для Петрова.

Петрова недавно видели с красивой блондинкой. Я понимаю, что обижаться — мещанство и чистейший эгоизм. Если любишь человека, надо жить его интересами. «Если две параллельные прямые порознь параллельны третьей, то они параллельны между собой». Значит, если я люблю Петрова и блондинка любит Петрова, то я и блондинка должны любить друг друга.

В комнату вошла моя мама и сказала:

— Если ты сию минуту не встанешь и не пойдешь за солью, я тебе всю морду разобью!

Надо заметить, что моя мама преподаватель зарубежной литературы в высшем учебном заведении. У нее совершенно отсутствует чувство юмора. Пианино она называет музыкальным инструментом, комнату — жилой площадью, а мое лицо — мордой.

Юмор — это явление социальное. Он восстанавливает то, что разрушает пафос. В нашей жизни, даже в моем поколении, было много пафоса. Зато теперь, естественно, много юмора.

— Ну объясни, — просит мама, — что вы за люди? Что это за поколение такое?

Мама умеет за личным видеть общественное, а за частным — общее.

— При чем тут поколение? — заступаюсь я. — Я уверена, стоит тебе только намекнуть, как все поколение тут же ринется за солью, и только я останусь в стороне от этого общего движения.

Мама привычным жестом берет с полки первый том Диккенса и не целясь кидает в мою сторону. Я втягиваю голову в плечи, часто мигаю, но делаю вид, что ничего не произошло.

Я понимаю — дело не в поколении, а в том, что неделю назад я провалилась в педагогический институт и теперь мне надо идти куда-то на производство. Я вообще могу остаться без высшего образования и не принести обществу никакой пользы.

У меня на этот счет есть своя точка зрения: я уверена, например, что моя мама принесла бы больше пользы,

если бы работала поваром в заводской столовой, кормила голодных мужчин. Она превосходно готовит, помногу кладет и красиво располагает еду на тарелке. Вместо этого мама пропагандирует зарубежную литературу, в которой ничего не понимает. «Диккенс богат оттенками и органически переплетающимися противоречивыми тенденциями. Понять его до конца можно, лишь поняв его обусловленность противоречивым мироощущением художника».

Не знаю — можно ли понять до конца писателя Диккенса, но понять на слух лекции мамы невозможно. Не представляю, как выходят из этого положения студенты.

Эту точку зрения, так же как и ряд других, я держу при себе до тех пор, пока мама не кидает в меня щеткой для волос. После чего беседа налаживается.

— Ну что ты дерешься? — обижаюсь я. — Каждый должен делать то, что у него получается.

Я намекаю на мамину деятельность, но она намеков не понимает.

— А что у тебя получается? Что ты хочешь?

— Откуда я знаю? Я себя еще не нашла.

Это обстоятельство пугает маму больше всего на свете. Если я не нашла себя в первые восемнадцать лет, то неизвестно, найду ли себя к следующим вступительным экзаменам.

— Ты посмотри на Леру, — советует мама.

Лера поступила во ВГИК на киноведческий факультет. Кто-то будет делать кино, а она в нем ведать.

— А ты посмотри на Соню, — предлагаю я свою кандидатуру. — По два года сидела в каждом классе, а сейчас вышла замуж за капиталиста. В Индии живет.

— В Индии нищета и инфекционные заболевания, — компетентно заявляет мама.

— Вокруг Сони нищета, а ее индус дом имеет и три машины.

— Тебе это нравится?

— Нищета не нравится, а три машины — хорошо.

— А что она будет делать со своим индусом? — наивно интересуется мама.

— То, что делают муж и жена.

— Муж и жена разговаривают. А о чем можно говорить с человеком, который не понимает по-русски?

— Она его научит.

— Можно научить разговаривать, а научить понимать — нельзя.

— Ты же со мной разговариваешь, а меня совершенно не понимаешь. Какая в этом случае разница — жить с тобой или с индусом?

— Таня, если ты будешь так отвечать, — серьезно предупреждает мама, — я тебе всю морду разобью.

— А что, я не имею права слова сказать?

— Не имеешь. Ты вообще ни на что не имеешь никакого права. Потому что ты никто, ничто и звать никак. Когда мне было столько, сколько тебе сейчас, я жила в общежитии, ела в день тарелку пустого супа и ходила зимой в лыжном костюме. А ты... Посмотри, как ты живешь!

Мама думает, что трудности — это голод и холод. Голод и холод — неудобства. А трудности — это совсем другое.

Я никто, ничто и звать никак. Разве это не трудность?

У Петрова — блондинка. А это не трудность?

Мне иногда кажется, что мама никогда не была молодой, никогда не было войны, о которой она рассказывала, никогда не жил Чарлз Диккенс — все началось с того часа, когда я появилась на свет. В философии это называется «мир в себе».

— У нас были общие радости и общие трудности, — продолжает мама свою мысль.

— Тогда были общие, — говорю я, — а сейчас у каждого свои.

Мама стремительно смотрит вокруг себя, задерживается глазами на керамической пепельнице. Так спорить невозможно. Я предупреждаю об этом вслух, но мама с моим заявлением не считается. И через пять минут в комнате соседей покачивается люстра и нежно звенит в серванте хрусталь.

А еще через пять минут я стою, но уже не в комнате, на улице, посреди двора.

Никто в этой жизни не любит меня больше, чем мать, и никто не умеет сильнее обидеть. В философии это называется «единство и борьба противоположностей».

Подруга Лера сказала бы по этому поводу так:

«Надо уметь отделять рациональное от эмоционального. Родители на то и созданы, чтобы воспитывать, а дети для того и существуют, чтобы создавать поводы

для забот. Каждое поколение испытывает на себе любовь родителей и неблагодарность детей. Что же касается индуса, то тут особенно важно отделить рациональное от эмоционального. Ни в коем случае нельзя ориентироваться на страсть, надо учитывать перспективы отношений, брать мужа на вырост».

Петров — муж на вырост. Через десять лет он станет молодым профессором, а я женой молодого профессора. Я буду приносить пользу мужу, а он всему обществу — за меня и за себя. Жаль, что Петров женится не на мне, а на блондинке. Хотя их отношения с блондинкой ни на чем не стоят, а у нас с Петровым общее прошлое: мы вместе рыли картошку в колхозе. Может быть, когда-нибудь он вспомнит об этом и позвонит мне по телефону.

Петров очень остроумный человек. Он весь состоит из формул и юмора. Юмор, конечно, восстанавливает то, что разрушает пафос, но когда его очень много — он сам начинает разрушать. Так же, как ангина разрушает сердце. От частых ангин бывает недостаточность митрального клапана, с этим очень неудобно жить. А от хронического юмора образуется цинизм, с которым жить очень удобно, потому что человек все недооценивает. Всему назначает низкую цену.

У мамы мало юмора, она ко всему относится торжественно и все переоценивает. У Петрова много юмора, он ко всему относится снисходительно, все недооценивает. Лера все время отделяет рациональное от эмоционального. Всему знает точную цену. Она умеет и в жизни «руду дорогую отличить от породы пустой».

А я ничего не знаю и не умею. Потому что я себя не нашла. И меня никто не нашел.

Рядом с нашим домом продовольственный магазин, а возле магазина большая лужа. Зимой она замерзает, тогда дворничиха Нюра посыпает ее песком или крупной солью, чтобы люди не падали. Сейчас конец августа, начало дня, лужа стоит полная и белая от молока. Вчера в нее с грузовика свалился ящик с шестипроцентным молоком.

Возле лужи собираются кошки, они спокойно сидят, вытянув хвосты, а люди куда-то торопятся, и всем свое дело кажется самым важным.

У меня развито стадное чувство. Когда я вижу бегущих людей, я бегу вместе со всеми, даже если мне надо в противоположную сторону.

Однажды мы с Лерой собрались на ее дачу и приехали с этой целью на Савеловский вокзал. Лера пошла за билетами, а я осталась ждать на платформе. В это время со второго пути отправлялся поезд, который редко ходит и далеко везет. Вокруг меня все пришло в движение и устремилось ко второму пути. Люди бежали так, будто это был самый последний поезд в их жизни и вез их не в Дубну, а в долгую счастливую жизнь.

Я услышала в своей душе древний голос и бросилась бежать вместе со всеми, не различая в общем топоте своего собственного. Когда я вскочила в вагон, то испытала облегчение, доходящее до восторга. Потом, конечно, я испытала оторопь и растерянность, но это было уже потом, когда поезд тронулся.

Лера не понимает, как можно вскочить в ненужный тебе поезд. Она до сих пор не понимает, а я до сих пор не могу объяснить.

Я давно миновала свой двор и несколько улиц, когда увидела бегущих людей. Они пронеслись мимо меня, потом остановились — в передних рядах произошла кратковременная борьба. Потом все повернулись и бросились в другую сторону.

Я заглушила в себе древний голос, отошла и попробовала сосредоточиться. Со стороны, как правило, виднее, я все поняла: действие происходит перед театром, массы стреляют билет на утренний спектакль.

Я не люблю стрелять билеты. В этом есть что-то унизительное. Те, у кого заранее припасены билеты, чувствуют необоснованное превосходство и на вопрос, нет ли у него лишнего, могут ответить: «Есть. В баню». Каждому приятно почувствовать превосходство, пусть даже временное и необоснованное. Я это понимаю, но не принимаю. Поэтому просто отхожу в сторону, ни у кого ни о чем не спрашиваю, при этом у меня вид попранной женственности. Такой вид часто бывает у хорошеньких продавщиц, которые собрались завоевывать мир, а попали за прилавок.

Сегодня я тоже отхожу в сторону и смотрю, как ведут себя возле театра. Если бы в кассе были свободные билеты, людям хотелось бы на спектакль гораздо меньше или не хотелось бы совсем.

Ко мне подошла блондинка в белом пальто и таинственно спросила:

— Можно вас на минуточку?

— Можно, — согласилась я и пошла за ней следом. Я не понимала, куда она меня ведет и с какой целью. Может быть, это была блондинка Петрова и ей совестно смотреть мне в лицо?

Блондинка тем временем остановилась и достала из лакированной сумочки билет — голубой, широкий и роскошный.

— Продаете? — догадалась я.

У меня в кармане было семь копеек — ровно на пачку соли.

— Отдаю, — поправила меня блондинка.

— Почему?

— Он мне даром достался.

— А почему мне, а не им? — Я кивнула в сторону дышащей толпы.

— Боюсь, — созналась блондинка. — Растерзают.

Я обрадовалась и не знала, как приличнее: скрыть радость или, наоборот, обнаружить.

— Вам правда не жалко?

— Правда. Я вечером посмотрю в лучшем составе.

— Тогда спасибо, — поблагодарила я, обнаруживая радость одними глазами, как собака.

Мы улыбнулись друг другу и разошлись довольные: я тем, что пойду в театр, а она тем, что не пойдет.

Есть зрители неблагодарные: им что ни покажи — все плохо. Я — благодарный зритель. Мне что ни покажи — все хорошо.

Мои реакции совпадают с реакцией зала, просто они ярче проявлены. Если в зале призадумываются — я плачу, а если улыбаются — хохочу.

Мне все сегодня нравится безоговорочно: пьеса, которая ни про что, артисты, которые изо всех сил стараются играть не хуже основного состава. Может быть, у них в зале знакомые или родственники и они стараются для них.

Мой сосед справа похож на молодого Ива Монтана — тот современный тип внешности, о котором можно сказать: «уродливый красавец» или «красивый урод». Он не особенно удачно задуман природой, но точно и тщательно выполнен: точная форма головы, вытянутая шея, вытянутые пальцы, вытянутая спина. Все вытянуто ровно настолько, насколько положено, ни сантиметра лишнего. Хорошо бы он на мне женился.

Спектакль окончился традиционно. Зло было наказано, а справедливость восторжествовала.

Так должны заканчиваться все спектакли, все книги и все жизни. Необходимая традиционность.

Я не люблю выходить из театра, не люблю антрактов — вообще мне не нравится быть на людях. На людях хорошо себя чувствуют начинающие знаменитости — все на них оглядываются и подталкивают друг друга локтями. А когда ты идешь и тебя никто не замечает, появляется ощущение, что ты необязательна.

— Девушка, извините, пожалуйста... — Кто-то меня все-таки заметил. Я обернулась и увидела Ива Монтана. «Сейчас спросит, где Третьяковская галерея», — догадалась я.

— Где вы взяли ваш билет? — спросил Ив Монтан.

— Мне его подарили.

— Кто?

— Блондинка. — Я хотела добавить «красивая», но передумала.

— Она еще что-нибудь говорила?

— Да. Она сказала, что посмотрит спектакль в лучшем составе.

Что ж, может быть, блондинка не любит уродливых красавцев, а предпочитает красивых красавцев или уродливых уродов. Чистота стиля.

Мы вышли на улицу. Весь июль и первую половину августа шли дожди. А так как природа все уравновешивает, то на вторую половину пришлась вся жара, причитающаяся лету. Было так душно, что плавился асфальт.

— А как отсюда добраться до Третьяковки? — поинтересовался Ив Монтан.

«Наконец-то дождалась», — с удовлетворением думала я.

— Вы приезжий?

Все, кто приезжает в Москву из других городов, сейчас же бегут в Большой театр или в Третьяковскую галерею, даже если это им совершенно неинтересно.

— Приезжий, — сознался Ив Монтан.

— Откуда?

Я думала, он скажет «из Парижа».

— Из Средней Азии, — сказал Ив Монтан.

— А зачем вам Третьяковка? Вы любите живопись?

— Нет. Я хожу смотреть туда одну картину, «Христос в пустыне».

— Крамской, — вспомнила я.

— Наверное. Там Христос сидит на камне, а я перед ним на диванчике. В такой же позе. Посидим вместе час-другой, начинаем думать об одном и том же.

— О чем?

— Так. О себе, о других.

— А о ком вы думаете лучше — о себе или о других?

— Конеч о, о себе. Вам в какую сторону?

— Мне все равно, — сказала я. Мне действительно было совершенно безразлично.

Мы смешались с толпой и пошли в непонятном для себя направлении. Может быть, у Ива Монтана тоже было развито стадное чувство.

— Нравится вам Москва?

Этот вопрос обязательно задают иностранцам, а иностранцы обязательно отвечают, что больше всего им понравились простые люди.

— Город — это прежде всего люди, — ответил Ив Монтан. Он держался как иностранец на Центральном телевидении. — Я люблю тех, кто меня любит. В Москве меня не любят. Поэтому мне больше нравится Киев.

— Мещанский город! — высокомерно сказала я.

В Киеве живет моя родственница — настоящая мещанка. Когда я приезжала к ней на каникулы — заставляла меня наряжаться на базар.

— Мещане в свое время умели жить медленно и внимательно, — сказал Ив Монтан. — Сейчас этого не умеют. Все торопятся. А зачем?

— Чтобы успеть на свой поезд. В долгую счастливую жизнь.

— Когда торопишься, быстро устаешь. А чтобы жить долго, надо совсем другое.

— Что же надо?

— Заниматься спортом. Плавать.

— И все? — разочарованно спросила я.

— Вам мало?

— Конечно. Кроме спорта, существуют наука, искусство, политика...

— Спорт — это и наука, и искусство, и политика. В борьбе побеждает сильнейший, в беге быстрейший. Красиво дерутся, красиво бегут. Судят беспристрастные судьи. Выигранное соревнование — это мгновение плюс жизнь.

— А я физкультурную форму всегда забывала, — с сожалением вспомнила я.

— А чем вы занимаетесь? — спросил Ив Монтан.

— Ничем. Я себя не нашла.

— Зачем вам себя искать? Вы уже есть.

— Думаете, этого достаточно?

— Вполне достаточно: умная, молодая, красивая...

— Умная и молодая — правильно, — подтвердила я. — Но не красивая. У меня психология не та.

— Непонятно.

— У красивых одна психология, а у некрасивых другая, — объяснила я. — У меня та, которая у некрасивых.

— Что же это за психология?

— Как бы вам объяснить... Бывают зрители благодарные, а бывают неблагодарные. Для них и пьесу пишут, и декорации рисуют, и актеры стараются, а они сидят нога на ногу, будто так и должно быть. Все для них в

этой жизни — и города для них поставлены, и моря налиты. Понимаете? А я совсем другой зритель. Вот луча на небе — я ей ужасно благодарна. Вы со мной разговариваете — я просто счастлива.

— Вам правда не скучно?

Ив Монтан почему-то задержался на этой мысли, хотя меня больше интересовала другая.

Мимо нас, таинственно ступая, прошагала кошка. Может быть, она направлялась к луже с шестипроцентным молоком. У каждого в этой жизни свой маршрут.

— А куда мы идем? — спросил Ив Монтан.

— Не знаю. — Я остановилась. — Я думала, вы знаете.

— Пойдемте ко мне, — пригласил Ив Монтан.

— Куда?

— Ко мне. — Он решил, что я не расслышала.

Прежде чем решать что-либо, мне надо было отделить рациональное от эмоционального и выяснить перспективы отношений.

— Вы надолго приехали?

— На десять дней. На семинар.

— А какая у вас специальность?

— Инструктор по плаванию.

— Что это значит — «инструктор»?

— Человек, который учит плавать.

— А какое у них будущее — у тех, кто учит плавать?

— Будущее в основном у тех, кто плывет.

Все сошлось. Нормальный человек — без будущего и без перспектив отношений. Я испытала облегчение, до-

ходящее до восторга, — как тогда, когда прыгнула в ненужный поезд.

Ив Монтан жил в гостинице. Когда мы вошли в его номер, я испытала оторопь и некоторую растерянность, но было уже поздно, потому что поезд тронулся.

Номер был хорош тем, что в нем не было ничего лишнего: кровать, чтобы спать, стол, чтобы писать письма, графин со стаканом, чтобы пить воду. Книг, чтобы читать, не было. Пианино, чтобы играть, тоже не было. Проводи свое время как хочешь, лежи на кровати, пей кипяченую воду.

— Куда сесть? — спросила я, так как стул был заставлен коробками.

Ив Монтан кивнул на кровать. Я села прямо на покрывало, хотя мама воспитывала меня совершенно иначе.

Итак, я сижу на кровати в номере у мужчины. Это со мной впервые, но, видимо, все в жизни бывает первый раз. Если бы моя мама меня не била и не заставляла каждый день искать смысл жизни, я сейчас сидела бы дома, читала про катушку и кусок железа или вязала крючком. Значит, во всем виновата мама, из-за нее я дошла до жизни такой.

Когда находишь виноватого, становится легче. Мне тоже стало легче, зато Ив Монтан чувствовал себя затруднительно. Когда приходят гости, их надо развлекать беседой и поить кофе. Кофе у него не было, подходящей темы тоже не было. На улице ему было как-то освобожденнее.

— Садитесь, — подсказала я.

Ив Монтан послушно сел возле меня на покрывало.

— Как вас зовут? — торопливо поинтересовалась я. Это было самое подходящее время для знакомства.

— Иван. — Он протянул руку ладонью вверх. Такой доверительный жест предлагают собаке — чтобы не укусила. Я недоверчиво, как незнакомая собака, заглянула в развернутую ладонь. Линия жизни была у него длинная — долго будет жить. А линия ума — короткая. Дурак. Возле большого пальца эти линии сходились в букву «М»: линия ума совпадала с линией жизни. Не такой уж, значит, дурак, кое-что понимает. Бугров под пальцами не было. Бугры — признак таланта. Иван Монтан имел ладонь плоскую, как пятка. От таланта был освобожден совершенно.

— Иван, — повторила я, — сокращенно Ив...

Мне следовало назвать свое имя и протянуть свою ладонь. На моей ладони читались признаки и ума, и таланта, но линии ума и жизни не соединялись в букву «М», а шли каждая сама по себе.

Это означало, что вообще-то я умная, но своим умом не пользуюсь, живу как идиотка. Сегодня это особенно проявлялось.

— А почему блондинка не пошла с вами в театр? — спросила я. Меня мучила эта тайна.

Ив Монтан не ответил. Он убрал свою ладонь, сунул ее в карман. Мы сидели на одной постели такие отчужденные, будто были мужем и женой и прожили вместе двадцать лет.

Он встал, подошел к письменному столу и, присев на корточки, выдвинул нижний ящик.

Я ожидала, что Иван Монтан достанет шахматы или книгу с картинками, но он достал маленькую бутылку ликера с изящной этикеткой. Когда он выдвигал, а потом задвигал ящик, там что-то тарахтело. От живого созерцания я перешла к абстрактному мышлению и догадалась, что тарахтят бутылки.

— Вы алкоголик? — поинтересовалась я.

— Нет. Пьяница.

— А какая разница?

Ив Монтан посмотрел на меня, и я поняла, что выступила как дилетант.

— Пьяница хочет — пьет, а не хочет — не пьет, — объяснил он. — А алкоголик хочет — пьет и не хочет — тоже пьет.

— Понятно. А зачем вы пьяница? Вам трезвому скучно?

— Просто я устаю к концу дня и снимаю напряжение. Черчилль, например, выпивал в день бутылку армянского коньяка.

Ив Монтан разлил ликер — мне в стакан, а себе в крышку от графина. В номере запахло кофе, потому что ликер был кофейный.

— А почему Черчилль пил коньяк, а не ликер? — удивилась я.

— Ему было чем закусывать, — неопределенно объяснил Ив Монтан. Он сел возле меня и стал на меня смотреть.

— Сколько тебе лет?

— Восемнадцать.

Он поднял свою бесталанную ладонь и погладил меня по волосам.

— Блестят, — проговорил он. — Почему они у тебя блестят?

— Чистые... — сказала я и замолчала.

Ив Монтан был не прав. Ликер не снимал напряжения. Наоборот. У меня возникло такое ощущение, будто я несусь в скоростном лифте, когда в печенках что-то обрывается и ухает вниз, а голова становится легкой и вот-вот отлетит. Вот-вот я потеряю свою голову с чистыми волосами.

Есть такая болезнь — клаустрофобия. Это боязнь замкнутых пространств. Такие люди, например, не могут ездить в лифте. Я ничего не знаю больше об этой болезни, но вдруг остро почувствовала симптомы клаустрофобии. Мне жутко стало от замкнутого пространства, в котором совершенно не оставалось больше воздуха — нечем было дышать до того, что даже говорить невозможно.

Я вскочила с постели, отбежала к окну. Ив Монтан смотрел на меня очень внимательно — может быть, решил, что я собралась выброситься с седьмого этажа.

— У тебя что-нибудь было? — спросил он.

— Было.

— Если не хочешь, можешь не рассказывать.

— Мы вместе учились, — начала я. Мне лучше было рассказывать. Лучше произносить текст, чем молчать. — А потом мы вместе копали картошку в колхозе. Нас послали туда всем классом, но работать не хотелось. А он копал с утра до вечера. Он говорил, что это для

него принципиально. Раз приехали работать — надо работать, а не прятаться по углам.

— Ну а потом...

— А потом я тоже стала копать вместе с ним.

— И все?

— Все.

— Значит, ничего не было?

— Почему же? Производственная любовь...

— А чем она кончилась?

— Мы вернулись в Москву, он себе блондинку нашел.

— Обидно?

— Ну вот, обидно... Гордиться должна. Если любишь человека, надо жить его интересами.

Ив Монтан выпил полкрышки, подвинулся поближе к стене, чтобы сидеть удобно было.

Клаустрофобия моя кончилась, замкнутое пространство разомкнулось как-то само собой.

— А я не помню, какой я был в восемнадцать лет, — сказал Ив Монтан. Он как-то незаметно перестроился из красивого урода в красивого красавца, нравился мне больше, чем в театре, и больше, чем Петров в колхозе. Удивительно, что блондинка не пошла с ним в театр.

— Хотите, я тоже стану блондинкой? — предложила я. — Два часа — и блондинка.

— Не хочу, — сказал Ив Монтан. — Зачем тебе быть как все?

В номере было тепло и отгороженно от внешнего мира. Мы сидели вместе — красивый красавец и индивидуальная брюнетка — не такая, как все.

Мне хотелось, чтобы так продолжалось долго, но Ив Монтан посмотрел на часы.

— Пошли! — скомандовал он.

— А можно еще посидеть?

— А что мы будем делать?

— Общаться... духовно, — уточнила я.

— Для духовного общения надо ходить в Третьяковскую галерею, а не в номер к одинокому мужчине.

— Тогда пойдемте в Третьяковскую галерею, — предложила я. Мне не хотелось домой. — Посмотрим на Христа. Подумаем о себе, о других...

Мы отправились смотреть Христа, но не в Третьяковскую галерею, а в церковь. Так было ближе.

Во дворе за оградой стояла белая «Волга», принадлежавшая, видимо, попу.

В церкви было много старух, а обладатель белой «Волги» стоял в ризе и пел баритоном.

Когда мы ступили в церковь, старухи упали на колени — не перед нами, а потому что так надо было по ходу службы. Все упали на колени, кроме нас и попа. Мы посмотрели друг на друга с доброжелательным любопытством.

На мне было надето короткое платье, покроем и размером похожее на мужскую майку. Из-за майки с боков и снизу текли мои нескончаемые голые руки и такие же нескончаемые голые ноги. Поп посмотрел на все это, допел свою фразу, энергично замахал кадилом — энергичнее, чем раньше, а хор подхватил высокими голосами: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй мя...»

Когда я слушала церковное песнопение, со дна моей души поднималось что-то светлое, неконкретное, я чувствовала в себе пристальную связь с прошлым, и у меня слезы подступали к глазам.

Ив Монтан стоял возле моего плеча, торжественный и просветленный. Высоко кричал хор, крестились старухи. Мне казалось, будто мы венчаемся.

Потом вышли на улицу сменить обстановку. Ив Монтан купил на выходе свечку и, разломав на две части, отдал мне половину.

«Вместо кольца», — подумала я.

«Повенчавшись», мы отправились в свадебное путешествие. На городской пляж.

Я сидела прямо на камнях, а Ив Монтан нашел где-то заржавленные детские санки и сидел на санках. У него был радикулит, он боялся простудиться.

Вдоль набережной зажглись фонари. Световые дорожки дробились в воде. На середине реки тревожно и страстно скрипели баржи.

— Ты с кем живешь? — спросил Ив Монтан.

— С мамой.

— А отец где?

— У меня его не было.

— Значит, твоя мать одна живет?

— Почему одна? Со мной.

— Несчастная баба... — задумчиво сказал Ив Монтан.

Я очень удивилась. Я почему-то никогда не думала об этом. Я никогда не смотрела на свою мать с этой точки зрения.

— Она интеллигентный человек? — спросил Ив Монтан.

— Нет, — не сразу сказала я.

— А чем она занимается?

— Преподает зарубежную литературу. Инструктор по Чарлзу Диккенсу.

Я поднялась, стащила через голову платье и пошла, преодолевая коленями тугую воду. Выбросила вперед руки, медленно упала, почувствовала сначала ожог, потом блаженство. Плаваю я плохо, но держусь на воде хорошо. И когда я держалась на воде, вспоминала генами те времена, когда была тритоном и переживала эту стадию эволюционного развития. Ученые говорят, что в каждой человеческой клетке заложена вся информация: кем человек был, что он есть и кем будет. В воде мои клетки кричали, что я была земноводная, сейчас — никто, ничто и звать никак, я буду человек-амфибия с легкими и жабрами, а может, даже с крыльями и полыми костями.

Ив Монтан сидел на берегу, на детских санках.

— Эй! — крикнула я. — Инструктор! Научите меня плавать!

— Мне надоело учить!

— Тогда плавайте сами!

— Не хочу!

Я вышла из воды, села у его ног на теплые камни.

— А ты что собираешься делать? — спросил Ив Монтан.

— Сейчас или вообще? — не поняла я.

— Вообще. — Его, как и маму, заинтересовал мой социальный облик.

— Мне бы хотелось найти какое-нибудь веселое занятие. Не в том смысле, что смешно или легко. Пусть будет трудно, но весело. Есть такая специальность?

— Есть. Культработник в доме отдыха.

— Культработник — это инструктор по веселью. А я хочу тихо нести праздник. Для этого не обязательно разгадывать викторины и прыгать в мешках.

На противоположном берегу размещался стадион «Лужники». Оттуда доносился неясный гул — может быть, в этот самый момент там шли спортивные соревнования.

— Холодно? — Ив Монтан положил руку на мое плечо.

Я не ответила. Ощущение счастья похоже на ощущение высоты. Необычно и страшно. Он прислонил мои мокрые плечи к своей накрахмаленной рубашке. Стало еще выше и еще страшнее.

Где-то за кулисами нервничали спортсмены. А я была на сцене и играла самую главную роль.

Ив Монтан поцеловал меня — осторожно, как мама. Я и раньше целовалась на катке, вернее, после катка. И на вечере, вернее, после вечера. Я и раньше закрывала глаза, чтобы не отвлекаться на посторонние предметы. Но сейчас все было иначе, чем раньше. Я почувствовала ожог, потом блаженство, будто упала в холодную воду. Мои клетки несли совсем другую информацию: я всегда, всю жизнь сидела у его ног, и над моей жизнью всходило его лицо.

— А почему блондинка не пошла с вами в театр?

Это был провокационный вопрос. Я ждала, что Ив Монтан поблагодарит судьбу, которая предложила ему вместо блондинки меня.

— Не захотела, — сказал Ив Монтан. Не понял моей провокации.

— Могла бы просто не пойти — и все. Зачем было отдавать билет? Демонстрация...

Я совсем близко подвела его к нужной мысли. Он должен был сказать: «Тогда я не встретил бы тебя...»

— Конечно, некрасиво, — согласился Ив Монтан.

— Тогда вы не встретили бы меня, — прямо сказала я. Мне надоели намеки.

— Она хотела, чтобы я понял. И я понял, только не то, что она хотела.

Я почувствовала, что не в силах переключить его внимание с блондинки на себя.

— Сколько вам лет? — Я решила переключить внимание на него самого, а заодно поближе познакомиться.

— Тридцать один.

— Вы женаты?

— Женат.

— А как ее зовут?

— Так же, как тебя.

— Вы ее любите?

Ив Монтан напряженно задумался.

— Конечно, — вспомнил он. Было непонятно, о чем он думал так долго. Для того чтобы так ответить, можно было не думать вообще.

— А как же блондинка? — удивилась я.

— Блондинка — это блондинка, а жена — это жена.

— А я — это я?

— А ты — это ты.

Вспарывая воду, прошел речной трамвайчик. Кто-то возвращался на нем из своего свадебного путешествия.

— Но я так не хочу.

— А как ты хочешь?

— Я хочу, чтобы жена — это я, блондинка — это я и я — это я. Всю жизнь.

— Конечно, человек должен заниматься одним делом и жить с одной женщиной. Но бывает, что не найдешь своего дела и не встретишь свою женщину. Все бывает, как бывает, а не так, как хочешь, чтобы было. Поэтому надо уметь радоваться тому, что есть, а не печалиться о том, чего нет.

— А я так не хочу! Я так не буду!

— Будешь. Все так живут.

Моя мама во всем видит проблемы, а Ив Монтан ни в чем не видит никаких проблем. С мамой я, как бестолковый альпинист, постоянно преодолеваю горные вершины. А с Ивом Монтаном я бреду по пустыне Каракумы и не вижу ни одного холмика.

— А я знаю, почему блондинка не пошла с вами в театр.

— Почему? — Он обернулся.

— Потому что вы инструктор. Учите, как плавать, а сами не плаваете. Учите, как жить, а сами не живете.

— Дурочка, — сказал Ив Монтан. — В восемнадцать лет я такой же был.

— А вы не помните себя в восемнадцать лет.

— Откуда ты знаешь?

— Вы сами сказали.

Я поднялась, стала натягивать свою «майку». Ив Монтан достал папиросу, поставил ноги на санки — так, будто собирался скатиться. Но полозья были ржавые, вместо снега — камни. Да и куда ему было ехать? Разве что в реку... Мне вдруг стало неудобно бросать его одного в чужом городе на выброшенных санках.

— Хотите, я вас домой провожу? — предложила я.

— Ты что, обиделась? — заподозрил он.

На что я могла обидеться? Он ничего не обещал мне и не хотел казаться иным, чем есть на самом деле. Правда, я приняла его за Ива Монтана, а он оказался инструктором по плаванию из Средней Азии. Но ведь это была моя ошибка, а не его. Он был ни при чем.

— Просто вы приезжий, — объяснила я. — А я здесь живу...

Весь день стояла жара, а так как природа все уравновешивает, ночью прошел дождь. Асфальт стал блестящим, а лужа возле нашего дома заметно выцвела. В ней увеличился процент воды. Я шла в «майке», обхватив себя руками, чтобы не трястись от холода. У меня дрожали все внутренности, я просто физически устала от этой вибрации. Я была пустая настолько, что даже кости были полы, как у птицы, и ветер гудел в них — оттого, наверное, так холодно было.

Лифт в доме был выключен, я пошла пешком и где-то в районе третьего этажа вспомнила про соль. Была уже ночь, магазины закрыты. Соль можно было достать

только у нашей дворничихи Нюры. Она жила на первом этаже, и у нее в прихожей стоял целый мешок соли — крупной и мутной, как куски кварца. Этой солью она посыпала зимой скользкие дорожки, чтобы люди не падали.

Нюра открыла мне дверь босая, в ночной рубашке. Выслушав мою просьбу и мои извинения, уточнила:

— Тебе много?

— Да нет, — сказала я, — чуть-чуть...

Она ушла, потом вернулась и протянула мне спичечный коробок, туго набитый солью. Я поблагодарила, а Нюра не слушала, смотрела на меня задумчиво и вдруг спросила:

— Тебе, Танька, сколько лет?

— Восемнадцать.

— Дура я, — решила Нюра. — В войну надо было б мне ребенка принести, сейчас бы уже такая была...

— Больше, — сказала я.

— Даже больше, — огорчилась Нюра. — Совестно было — с ребенком и без мужика. А уж лучше одной, чем с каким алкоголиком...

— Или с пьяницей.

— Это все одно.

— Нет, — сказала я, — это большая разница.

Когда я вернулась домой, мама подметала квартиру — наводила мещанский уют. Уют современных мещан, которые живут медленно и невнимательно. Она выпрямилась, стала смотреть на мои голые руки и ноги, на обвисшие после купания неорганизованные волосы.

— Где ты была? — спросила мама и поудобнее взялась за веник. Было непонятно — то ли она хотела на меня нападать, то ли от меня защищаться.

— На! — Я протянула ей спичечный коробок.

— Что это? — растерялась мать.

— Соль, — объяснила я. — Ты же просила...

— А где ты ее взяла?

— Сама выпарила.

Я повернулась и пошла в ванную. Мне хотелось побыть одной, а главное — согреться.

В меня медленно входило тепло, заполняя мои кости. За дверью осторожно, будто я сплю, двигалась мама, и я поняла вдруг, что она несчастная баба, что ей тоже было столько лет, сколько мне. Поняла, что у меня был отец — может быть, такой же, как Ив Монтан. Может быть, мама тоже хотела заниматься одним делом и жить с одним человеком, но у нее ничего не получилось, потому что все бывает, как бывает, а не так, как хочешь, чтобы было.

Я вспомнила, как Ив Монтан отломил мне полсвечки, и заплакала.

Слезы скатывались к ушам, а потом приобщались к остальной воде. Вода и слезы были одинаковой температуры, мне казалось, будто я лежу, погруженная в собственные слезы.

В дверь постучала мама.

— Тебе Петров звонил, — сказала мама.

Я не отозвалась, наивно полагая, что мама постучит и уйдет. Но мама не уходила.

Я вышла из собственных слез, надела халат и стала вытирать лицо. Терла до тех пор, пока оно не сделалось красным.

Мама посмотрела на меня и вдруг сказала:

— Таня, хочешь, я не буду тебя больше бить?

— Все равно... Ты ведь не целишься.

— Я тебя больше пальцем не трону, — пообещала мама. — Иди поешь.

— Не хочу.

— А что ты хочешь?

Я пошла в комнату и стала стелить свой диван. Возле дивана стоял ящик для белья — с дырками, чтобы проникал воздух. Я наклеила однажды на дырки с внутренней стороны рисованные рубли — получилось, будто ящик набит деньгами.

— Я не знаю, чего я хочу, — сказала я маме. — Я знаю, чего не хочу.

Мама ждала.

— Я не хочу быть инструктором... Я хочу сама плавать или посыпать дорожки солью, чтобы другим ходить удобно было. И я просто счастлива, что провалилась в педагогический. Я больше не буду туда поступать.

— А как ты собираешься дальше жить?

— Чисто и замечательно.

— Таня, если ты будешь так со мной разговаривать...

Мама хотела добавить что-то, но вовремя спохватилась. Все-таки обещала не трогать меня пальцем и даже давала честное слово.

Содержание

Литературно-художественное издание

Токарева Виктория Самойловна
Стрелец

Рассказы и повести

Художественный редактор О.Н. Адаскина
Технический редактор О.В. Панкрашина
Младший редактор А.С. Рычкова

**Подписано в печать с готовых диапозитивов заказчика 14.11.07.
Формат 70×90$^{1}/_{32}$. Бумага газетная. Печать высокая с ФПФ.
Усл. печ. л. 11.6. С.: под Токар(м). Доп. тираж 2000 экз. Заказ 3557.
С.: Сов.люб.пр.(м). Доп. тираж 5000 экз. Заказ 3556.**

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.007027.06.07 от 20.06.07 г.

ООО «Издательство АСТ»
170002, Россия, г. Тверь, пр. Чайковского, 27/32
Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ООО Издательство «АСТ МОСКВА»
129085, г. Москва, Звездный б-р, д. 21, стр. 1

**Издано при участии ООО «Харвест». ЛИ № 02330/0056935 от 30.04.2004.
Республика Беларусь, 220013, Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.
E-mail редакции: harvest@anitex.by**

**Открытое акционерное общество «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа».
Республика Беларусь, 220600, Минск, ул. Красная, 23.**


ВЫ ПОМНИТЕ, В ОДНОМ ИЗ
РАССКАЗОВ ТОКАРЕВОЙ УЧИТЕЛЬ
ЗАДАВАЛ УЧЕНИКАМ ТЕМУ ДЛЯ
СОЧИНЕНИЯ: «ЧТО БЫ Я СДЕЛАЛ, ЕСЛИ
БЫ У МЕНЯ БЫЛ МИЛЛИОН». НО — ВРЕМЕНА
МЕНЯЮТСЯ, И ТЕПЕРЬ...
И ТЕПЕРЬ КОСТЯ (БЫВШИЙ ИНЖЕНЕР, А НЫНЕ
НЕИЗВЕСТНО КТО), РОЖДЕННЫЙ ПОД ЗНАКОМ
СТРЕЛЬЦА, КАК ПОЛОЖЕНО ВСЯКОМУ
НОРМАЛЬНОМУ СТРЕЛЬЦУ, ПО ГОРЛО УВЯЗШИЙ
В ЖИЗНЕННЫХ И ЛЮБОВНЫХ
ПРОБЛЕМАХ, НАШЕЛ МИЛЛИОН. ДОЛЛАРОВ.
И НАЧАЛОСЬ!
И НАЧАЛАСЬ... КНИГА ВИКТОРИИ
ТОКАРЕВОЙ. О НАШЕЙ
С ВАМИ НЕЛЕПОЙ, ГРУСТНОЙ
И СМЕШНОЙ
ЖИЗНИ...
ЛПР(м).Токарева Стрелец
Цена:85р.00к.
9785170450947
18.02.10